

Лёва Воробейчик

про -

МЫ -

сел
ось -

ми -

НОГА

Лева Воробейчик

Промысел осьминога

«Издательские решения»

Воробейчик Л.

Промысел осьминога / Л. Воробейчик — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748873-4

Человек, бредущий по парку, недоумевает, поглядывая на часы. Спрашивает, дергая за плечи прохожих, не видели ли они кое-кого очень важного. Накапывает дождь. Ни один из прохожих ничего не видел и, конечно, помогать не собирается. Закономерно ли, что поиск для него в этот самый день — почти что все на целом свете?

ISBN 978-5-44-748873-4

© Воробейчик Л.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	8
3	12
4	14
5	18
6	21
7	25
8	29
9	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Промысел осьминога

Лева Воробейчик

© Лева Воробейчик, 2016

Дизайнер обложки Павел Сергеевич Калюжин

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Город упивается осенью, тяжестью, мною – а чем остается упиваться мне, бродя по безвкусной серости, разглядывая ей принадлежащие окна, стены и людей-верноподданных, саму эту серость разглядывая и надеясь, что она пропадет, исчезнет – бег муравья по стенам и нырки в выдуманные реки, а в настоящие – ну уж нет, потому что так выходит, что все это есть не более чем череда поисков, а может и заблуждений. Поиск, бархатным одеялом меня окутавший – вранье, обман, наверняка одна лишь большая выдумка; я и целый серый город, она и мои методы, мои разногласия, че, одно к другому...

– Вы видели Марию? Она должна быть невысокого роста, мы обязаны были встретиться в одном из трех мест, которые я выбрал, она в темном и зеленом, у нее красивые каштановые волосы. – спрашиваю и утверждаю я наугад у первого попавшегося человека, задумчивого, сидящего на лавке с целую вечность, который смотрит в асфальт. – Понимаете ли, это важно, очень важно.

– Каштановые? – не удивляется нисколько он.

– Именно каштановые, не пепельные, не русые или же темно-русые, понимаете, каштан поверх темного с зеленью, она могла бы даже говорить по телефону, она должна быть особенно прекрасна и ее голос ни с чьим не спутать, понимаете?

– Должна быть? – вопрошая, он должен бы удивиться – но такой роскоши не преподносит он мне.

– Нет, не должна, ибо является прекрасным, ибо ее красота в категории «уже давно» и так далее, в общем, я ищу ее, вы видели? Мы условились в три, уже три двадцать, я опоздал, вы не видели Марию?

– Я повидал слишком много Марий, но не сегодня. – пожимает плечами он то ли мне, то ли своей вечности и замыкается в себе, разумеется, как и любой другой на его месте.

Да, не сегодня – слова заклинания с его уст в мои мысли, с его губ моим мозговым клеткам, миллиончики нейрончиков теперь заняты тем, что вытекает из его фраз и вполне укладывается в два страшных слова, называть которые ужасно не хочется, но. Поиск Марии – вот все, что является смыслом, пороком и жизнью единой, вот все, о чем мечтаю я сегодня, о чем буду мечтать завтра, послезавтра, через год или пять; что, если я найду ее скоро (сегодня), притяну и разверну к себе, скажу банальное:

– Привет, Мария, я нашел, ты – Грааль и Руно, я – Артур и Ясон, город же – только наш город, а не что-то другое, понимаешь?

Если бы так случилось вправду, то Мария обязательно ответила бы мне:

– Привет, хорошо, что ты нашел меня раньше, чем я того заслуживала, нет, заслужила.

На мой глупый вопрос – в чем смысл, значение, предзнаменование ее, так вот, на все эти ответы нет никаких ответов, они просто потеряются внутри ее глаз; думаю – почему тот человек не видел Марию, почему я выбрал такие удаленные места и запретил ей говорить, предупреждать меня? Игра родилась, че, поиски в холод, предчувствие предзнаменования, преднамерения и так далее. Вот стоит старая женщина, как ее зовут, авось повезет?

– Здравствуйте и извините, вы не видели здесь Марию? Она должна была быть здесь, здесь или еще в двух местах.

– Отстаньте, не знаю я никакой Марии, не будьте назойливы, я позову полицию.

– Марию так не найти. Нужен метод поиска, понимаете? – почти кричу я, отходя на нее на безопасное расстояние, потому что прошло уже слишком много времени, а я все никак не угомонюсь, вторгся в ее маленький мирок своим невежеством и, вот тебе, разрушаю – женщина кажется взволнованной этим знанием, кричит.

– Полиция! Позовите, пожалуйста, двух полицейских а вы, вы, вы, – истошно вопит она, и руки ко мне поднимает, словно бы защищается от вопросов. Глупая женщина. – вы отойдите и не спрашивайте...

– Вы правда не знаете? Или не хотите говорить? Я ищу человека с зелеными... – убегая, скороговорю я.

До конца часа мне во что бы то ни стало нужно найти Марию среди серости, глупости и начала ноября. И пусть имя ее отличается, но по внешности она как раз-таки Мария; а разве я требую большего, чем совпадения либо по форме, либо по содержанию?

2

Поиск, поиск, вычленение гласных и согласных из категории звуков в этом ужасном слове, семиступенчатость принятия и непринятия, оромантический или околоромантический смысл поиска Марии как образа, как символа, холодные пространства русских каменных полей и путь от дома до памятников былым первооткрывателям. Мария, ты где, ты ли есть там или еще где-то кто-то есть, может ты, а может и нет? Ку-ку, но нет [тебя] тут, жаль. Хотя все, на самом-то деле до ужаса просто, выстраиваются в ассоциативный ряд, одно проистекает из другого, фокусник машет руками, хлопок, поглядите-ка, светит свет и Мария не подвешена на нитках, она парит: из мысли следует пешее путешествие, из которого и проистекает мой поиск. Все эти женщины, проходящие мимо, не становятся моей Марией, у них другие имена или совпадающие с моим, с моим сокровенным – две согласные, три гласных, цокание языком от холода и бесконечное сожаление (или облегчение бывшего садиста), что очередная женщина Марией не становится – укрепление в голове осознания, а существует ли она ВНЕ метафизики, реально ли найти Марию в человеке или сразу в нескольких. [Да, банально, она не пришла и попросила больше ее не беспокоить. Тупая сука] Выстраиваются пласты осознания и пласты поисков, наслаиваются друг на друга, пока ветер заставляет курить не так часто, а ее поиски наоборот – курить слишком часто, ибо ветер и поиск – вот два противника, но они сходятся в одном решении: курить нельзя бросить (запятую поставить в нужном месте). Ветер не спрашивает, должен бы спросить, должен стать литературным средством внутреннего психологизма, но не становится им, ведь я САМ спрашиваю у себя: «кто же ты, о Мария», – называю себя ветром, а тебя – именем, хотя имени у тебя нет. Ты выражаешься лишь через интертекст, заменой и подстановкой, ты – молчание, глупость, доверие, смирение, показывание эмоций на людях и когда хорошо. Хорошо – это с тобой? Хорошо-это без тебя? Придуманное, берущее начало от жарких латинян, объясняет это в лучшей степени чем все эти символы, все буквы; о, М-А-Р-И-Я, две согласных, три гласных; поиск и принятие, отвергание и непринятие, поиск жизни в литературе и переосмысление жизни в жизни; к чему слова, когда один шанс из ста не выстреливает, не срабатывает? Я ищу. Почти нашел однажды (удивительно-полюбившееся слово), буду впредь. Две согласных, три гласных, ветер – внутренний голос: искать нельзя останавливаться (искать кого? Разумеется, Марию).

Прежде, чем начать, я хрущу затекшими пальцами, протираю слипающиеся веки и открываю наугад две статьи, после чего пишу, мгновенно придумав, проследив две связи в вещах довольно странных и связи у которых кроме принадлежности к языку – нет. Осьминог и сицилиана.

Хорошо, что появилась в моей жизни Ира после всего этого... не знаю, как бы я раньше смог бы пережить.

*..Осьминог обыкновенный (лат. *Octopus vulgaris*), длина тела – 25 см, руки-щупальца – 90, но могут достигать и 120—130, вес тела – до 10 кг, рот его несет две мощные челюсти, напоминающие...*

Иногда накатывает уныние. Ужасное, непреодолимое – кажется, что мир сосредотачивается в чем-то удивительно маленьком и глупом, как, например в женщине; почему-то зачастую всегда в женщине, а не в чем-то другом. Миры мои и чужие создаются в женщинах, в больших и маленьких, любимых и ненавистных – все вокруг этих женщин крутится и РАДИ них крутится [ave ira], порочно, словно круг – порочный круг, если быть точнее,

..напоминающие клюв, в глотке находится терка, помогающая перетирать пищу. Он обладает восемью щупальцами, снабженными многочисленными присосками. У самцов одна из рук-щупальцев преобразовывается в совокупительный орган – гектокотиль ...

ужасно, невообразимо – совокупление на кончиках пальцев, если можно так выразиться. Забегаю вперед – у осьминога обыкновенного, у октопуса вульгариса, превосходное зрение и размножение на кончике пальцев – ему не нужно искать выдуманную Марию, даже выдуманного Марию-осьминога, ничего из этого ему не нужно, он лишь плавает, плавает, плавает, ничего кроме, а я, к слову, начинаю путаться во фразах статьи, в именах на букву «М», с которых начинается их так много и иногда словно бы ото сна отрываюсь и вздрагиваю затекшей рукой или ногой.

Освободившись от сковывающих меня цепей, я подошел однажды к очередному человеку, чтобы спросить:

– Вы не видели Марию?

Но осекся, я не задал ему ничего из выдуманного, лишь улыбнулся, а он мне – не улыбнулся; я сделал вид, что ошибся человеком, он смерил меня недовольством. Это было после той затейной игры, после того страшного раза, когда наряд полиции бежал по моим горячим следам, женщина грозила спине моей кулаком а та, которую я величал святым именем, обедала с другим. Ха-ха. Но самое смешное вот в чем: я мог бы спросить про Марию, но в этом не было никакого смысла – холод поднимался, Мария была придумана и в тепле, я знаю это и тогда знал, ибо моя Мария – наполовину человек, наполовину ящерица, она умирает на холоде и у нее дома всегда тепло и всегда есть чем бы таким заняться; вот я и не стал спрашивать. Потому что я в то, первое однажды (хотя это было вот-вот) бродил по улицам, договорился о встрече с Ней, а потом узнал, что она и не собиралась приходить; потом была встречена Ира в день тот же или следующий и понеслось, собственно, и закрутилось, и залп вдохновения в лицо мне и на лицо ей, и все такое прочее, и теперь Мария – лишь присказка, наверное, но две темы для написания книги уже выбраны, их нужно изучить, ведь и путешествия и, о Боже, поиск Марии – как же это благодатно, главное Ирке сути не знать!

Вульгарис – значит обыкновенный, вот она, сила латыни; говорю теперь «вульгарно» осмысленно, не так, как прежде...

..глаза крупные, по строению напоминают строение глаз позвоночных животных, головной мозг осьминога обыкновенного высокоразвит, имеет зачаточную кору, они (обыкновенные) обладают самым высоким интеллектом среди беспозвоночных, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры, хорошо поддаются дрессировке. Их кровеносная система близка к замкнутой: во многих местах артерии переходят в вены через капиллярную систему; у осьминога три сердца – одно находится в полости тела (главное), два других являются жаберными, кровь – голубая, т.к. насыщена гемоцианином в качестве дыхательного пигмента...

Почему «сицилиана», почему именно морская? Логичнее, если бы она была посвящена океану, вижу рифму – сицилиана океана и тому подобное, поэзия бескостна, она неспособна выразить все людское, прозаическое, хотя поиск – вот вполне поэтический образ, значащий что-то определенное; у осьминога восемь ног, у Марии – восемь придуманных лиц, все же, или даже больше, вот где и запрятан глубокий смысл для такого поверхностномыслящего как я, и, кстати:

Параллель – руки-щупальца как ответвления поиска, как разумное оправдание метаний и как метания оправдания, параллель – поиск самого смысла «поиска», одно через другое.

..Осьминог способен изменять окраску тела, приспосабливаясь к среде. В его коже имеются клетки с различными пигментами, способные растягиваться или сжиматься в зависимости от восприятия органов чувств. Типичный окрас – коричневый. Осьминог обитает на мелководьях, до глубины 100—150 м. Предпочитает скалистые участки дна. Одиноч-

ный, территориальный вид. Днём осьминог мало активен, охотится, как правило, в сумерках и ночью. Осьминог – типичный хищник-засадчик. В его рацион входят моллюски, ракообразные, рыба, планктон. Добычу захватывает руками, затем подтягивает её к рту и кусает клювом жертву. При этом яд слюнных желез осьминога попадает в рану. Враги осьминога – дельфины, морские львы, киты, олущи, хищные рыбы...

Смысл, смысл, смысл! Враги – вот что действительно важно, осьминог, как и любое живое существо, борется за свое выживание, за территорию, за еду; с кем борется человек – вопрос отличный, гуманистический, нечестный, вот, хороший и эгоистичный – с кем же борюсь я? Ежедневное осмысление не дает понимания – выдуманный поиск прекрасен, по-настоящему, пока он не становится поиском настоящим, реальным и холодным. [выбейся из правил, ма белла принцесска Иринка, вы-бей-ся].

– Я один такой, когда таких, как она – миллион, – уверенно говорю я обычно Другу, сам себя делая немного счастливее этим. – никогда я не буду страдать из-за такой, как она. – неизвестно, кого именно подразумеваю, ведь границы стерты и все такое, одно женское имя на весь женский род и Друг говорит очевидное, ну, понятно, одним словом.

[Была одна, потом она не пришла, остался лишь образ, потом вместо него Ирка, а с образом что, эволюция, декаданс ли, где границы лестничной раскадровки Марии; одно ли на другое или битую на битую, да сверху заверни?]

А такой – это какой? Глупо, что все они уходят из моей жизни, хотя когда-то были Мариями – ну, или мне так казалось; в любом случае они и были Мариями какое-то время, пока сам образ моей Марии не видоизменялся, пока **я сам** не видоизменялся, *stradatus ergo sum* – страдаю, следовательно, и так далее, ведь любая, даже мимолетная, всегда была Марией и никогда ей не была, парадокс? Закономерность? Человек?

Я – враг свой, это не откровение, не откровение, а просто три слова и дефис, че.

.. Размножение происходит дважды в год, как правило, весной и осенью. После спаривания самка устраивает гнездо на мелководье, где откладывает до 80 тысяч яиц. Самка ухаживает за яйцами, постоянно вентилирует их, убирает грязь и посторонние предметы. Инкубация продолжается до 4—5 месяцев, в зависимости от температуры воды. В течение всего периода развития яиц самка находится у гнезда и не питается. Новорожденные осьминоги первые 2 месяца питаются планктоном, ведут придонный образ жизни. Затем мигрируют на мелководье и переходят к взрослому образу жизни, типичному для вида. Растут быстро, в возрасте 4 месяцев достигают веса в 1 килограмм. Продолжительность жизни 1—2 года, редко до 4 лет. Осьминог – важный объект промысла, употребляется человеком в пищу. У побережья северной Африки ежегодно добывается более 20 000 тонн осьминогов.

Вот в этом-то и суть. Октопус вульгарис – вот она, абстрактная Мария, восьмелица, с одним отличающимся – даже не лицо-щупальце, а некий орган, пока мне неизвестный; не встречал никогда таких. Говорю Мария, подразумеваю музу, любовь, женщину, даже немного [Иру, вставьте любое другое имя, подозреваю, что скоро буду вынужден сделать так же сам]; такие же глупости, как и осьминожий промысел – так, лишь игра в слова, немного в образы, совсем чуть-чуть в значения.

Антон начинает писать

[наконец-то!]

Дождь сводит с ума. Я стою, беспомощный, у самого края кормы, смотря на безумие белого океана, а дядя кричит мне:

– Что ты... отойди, ну, не мешайся! – пока держась, трезво и литературно, хотя я знаю, как он может – вон, с командой всяко иначе общается...

Пальцы сводит холодом – и мне страшно от холода, а не холодно от холода – страшно, потому что он кричит, и в его голосе я слышу ярость и ненависть. К кому обращена эта ненависть, ко мне ли или же к кому-то еще? Скорее, к чему-то еще, ведь дядины перчатки скользят по поверхности мотобота, а руки соскальзывают с трала, который он и пытается закрепить. Я стою и не могу продохнуть от ужаса – вот, с каждым новым мгновением все больше начинает казаться, что лебедка сорвется, трал уйдет под воду и дядя тоже туда уйдет, и мне страшно, потому что пальцы у него соскальзывают, он ругается и потеет, а я стою и считаю секунды, которые отделяют его от его же смерти: раз, два...

– Что стоишь? Помоги, ну, быстрее, – кричит он и добавляет столько ругательств, что смысл слов я понимаю скорее интуитивно. Бросаюсь к нему, поскользываюсь, чуть не падаю за борт. – быстрее, кому сказал!

Подлетаю к нему и неумело кладу руки возле его рук, потому что он не объясняет, а надеется, видимо, что я откуда-то могу это знать. Смотрит он удивленно, видно, что если бы руки были свободны – удушил бы на месте. Кричит мне:

– Нет, вот здесь держи. Да нет, левее!

Пять минут перехватов и скованных мышц рук – и трал закреплен. По моему лицу плывут новые реки, глаза заливают пот и дождь, дядя тяжело дышит и закуривает, по-моряцки у него это получается сразу, несмотря на влажность и дрожание рук. Отдышавшись, говорит:

– Это... такое дело, что надо. А то сорвется, твою мать, и где я такой... а, закрепили и будет.

Отвесил резкий подзатыльник.

– За что? – обиженно спрашиваю я.

– А ты не слышал, что он скрипеть начал? Стоял там, сука, в двух шагах, нет бы сказать и...а, и хрен с ним. Вернемся в порт – сниму и проверю. – не взирая на мои протесты объясняет он.

– Дядь Саш!

– Что?

– А зачем нам вообще этот невод нужен, ты же...

– Не умничай, сука, ты понял?! Поумничай еще со мной...

Еще один подзатыльник – и я вновь смотрю на белые воды, а в уголках глаз щиплет соленым. Холодный ветер проникает под кожу, а дождь – под воротник, перед глазами возвышается Парамушур, а в воде нет никаких признаков жизни. Если бы трал сорвался, то я бы остался на лодке один. Дядя, конечно, прав – океан должен сделать из меня мужчину, я был обязан выйти на промысел, чтобы стать сильнее, взрослее и умнее, но что было бы, если бы его вместе с неводом затянуло на дно? Я не знаю. Лодка пахнет мертвой рыбой, а дядины глаза блещут красными огнями – невод закреплен, но нам нужно стоять на отмели еще около часа, до девяти, так он сказал; я не знаю, мог бы трал сорваться или нет, скорее всего нет, дядю бы вряд ли затянуло, я не остался бы на лодке один, точно не остался бы. Почему все обязательно должно быть так глупо? Почему его команда не может поучаствовать в том, что дядя называет «стать мужчиной»? Ничего страшного бы не случилось. Команда, наверное, там, в Парамушуре, или еще на каком-нибудь из островов, пьет в тепле, пока я нахожусь под дождем, так нечестно...

– Долго еще ждать? – спрашиваю я дядю, стуча зубами от холода.

– Минут пятьдесят. Проверь ловушки. – бешено улыбаясь, говорит он. – Он скоро будет пойман тобой, мальчик. Твой первый, мой-то уже давно на...

– Я проверял их десять минут назад.

– Скоро будет пойман, верно, – говорит он, совсем меня не слыша. – и ты вернешься совсем другим человеком.

После чего он, все так же меня, кажется, не замечая, смотрит туда, откуда идет чернота тяжелых туч.

3

Железо на ветру громыхает – и я бросаюсь, начитавшись статей и написавшись Романа, в серость города, отказываюсь от курева и от того, что существуют и другие, подобные ей; вот оно – счастье, вот он восторг, в осознании единственности и дальности других женщин и других образов. Мария, будь она неладна, все же существует где-то там, вдалеке, и мне ничего не остается, кроме как либо искать, либо не искать и ждать, не принимая ни за что близость других, ибо близкое так преходяще, в отличии, в отличии от! Что важнее, что наклонит чашу весов? Поиск или монастырское смирение, антитеза всей ситуации – выбор, курить или нет, быть в тепле или же в холоде. Удивительно, удивительно.

Сегодня мне пришлось заново познакомиться с некоторыми людьми, я забыл как их зовут, и о чем они обычно разговаривают, на лицах людей есть ностальгия и улыбка, вот и приходится смотреть на них критически и внезапной думой сопоставлять – а что есть у меня, пресловутые синицы или воробьи в руках? И, пьяные, мы улыбались с людьми и обсуждали сплетни, пока хмель крепил голову, пока один из этой новообретенной компании шептал на ухе своей женщине:

– Не переживай, малыш, все будет, не сразу, но будет...

Компания без имен – кому нужны имена? Я расположился удобно и ради забавы выдумывал другие имена, скорее даже прозвища, болтая под столом ногой в свое удовольствие, ведь был день рождения, и все расселись либо по парочкам, либо поближе к имениннику, поэтому со мной прямо рядом никого не было и ноге болталось очень даже хорошо; а так, за столом со мной сидели: Глупый, Изменщица, Наивный, Тихоня, Олень и еще один, пусть будет Безымянным. Они все знакомы меж собой, но Изменщицу и Тихоню я видел впервые – они женщины, они – гипотетические Марии, точнее, были ими, пока не открыли рот. Ужасно, банально, безвкусно. Увидев их, вспомнил опять про Нее пресловутую, точнее придумал ее заново – и отодвинул те мысли куда дальше, пока не напился, ведь по напивке подобные мысли лезут сами и в любом случае сводятся или к ней, или к туалету. Вот они, как собрались мы, со мной в своих членах, что удивительно – компания молодых мужчин и женщин, настолько незначительных и бессмысленных, что даже имен у них нет, лишь прозвища, игра в русский язык; значение представляет лишь Безымянный, он наиболее интересен, потому что наиболее несчастен, вот в чем суть и смысл, почти осьминожий промысел, че.

– Какая встреча, рад, рад. – улыбается он мне, садясь и приветствуя. – Давно не виделись.

– И действительно, – только и отвечаю я, поначалу – с легкой неприязнью, поглядев на него, морщась снобически, но потом все становится на круги своя и я принимаю его внутренним кивком головы внутри моей головы.

Мы пьем целый вечер, улыбаясь, точнее улыбаются только двое, в то время как остальные уже вступают во взрослые обсуждения своих отношений, так и не определившись, кто из них за осьминога, а кто – за рыбака. Музыка играет, Глупый целует Изменщицу, как женщина только может целовать женщину, и на подсознании глухими ударами сама по себе выбирается мысль: моя Мария никогда бы не согласилась делать это так, в таком месте, какой бы пьяной она не была, ведь для нее это было бы чуждо, она бы не стеснялась своих эмоций и чувств – но всегда бы чувствовала, где так можно сделать, где бы подарить или заслужить мой поцелуй, но так, однако, чтобы я не был против или же раздражен этим. У нее, как бы так сказать, врожденное чувство времени и места, вот почему моя вымышленная Мария лучше Изменщицы, Тихони, всех их, даже ангелов-официанток; она не позволяет себе не только таких поцелуев, но и своего СУЩЕСТВОВАНИЯ, что, несомненно, только прибавляет ей цены.

Но вечер безынтересен, а есть внутри помещения только лишь я, моя выдуманная взамен настоящей (Ира пожелала остаться дома; жалею, что пока не стал верить ей на слово и все же

пошел) и, конечно, Безымянный. Смешной человечек с глубоким взглядом, из тех, кто никогда не произносит вслух твоего имени, а если и произносит, то непроизвольно, заклинанием и обязательно полным, с отчеством; откуда в маленьких мужчинах эта ужасная тяга к полногласию имени? Человек глубокого взгляда и артистичности, театрализованности; в каждом движении его мускулов видно несовершенство и внутренние противоречия, видна смущенность и извинения, нет в нем уверенности, хотя он и отчаянно пытается ее показать, а как ее покажешь с ростом в метр пятьдесят семь; и улыбка его, и смех его – то, что наслаивается на грусть его, потому как его глаза созданы для грусти, а губы – для ироничной усмешки, видно, что он обязан быть тихим, а не отчаянно громким; театр одного или театр для одного, Безымянный?

– Знаешь, я очень рад, что тебя увидел сегодня, правда, – улыбается через время он и говорит, а я треплю его по плечу. Больше в зале никого – лишь вымышленный **я** и почти настоящий он, пьяный, смешной. – может, они пойдут, а мы тут это...?

– Да, пусть идут, – пьяно говорю я. – Только вроде начали, а тут они. Эх.

Они все ссорятся, портят всем настроение, гоняют официанток почему зря и заказывают кушанье за кушаньем, старательно подсчитывая каждую копейку. Они все такие, все эти обыватели, а мы как будто бы книжные взамен их, вроде как настоящих; за вечер мы выпиваем много для него и недостаточно для меня, остается лишь смотреть в его глаза и видеть незаданные вопросы. Я вижу в его грустных глазах это самое незаданное – там, в глубине, тоже сокрыта Мария, его сокровенная и совсем другая Мария, я знаю ее лучше, чем должен, подробности ее вымышленности стали однажды подробностями ее реальности, когда мой Друг возлег с его безымянной любовью; нет, все не так, он должен лишь схватить меня за грудки и кричать:

– Давай, скажи, говори, все что знаешь, не видишь разве, как херово, а?!

Но он не хватается и не кричит, даже не спрашивает. Его Мария танцует во взгляде итальянскую сицилиану с другим, даже уже не с Другом, где-то далеко, а он не спрашивает, хотя мысли выдают его – читаю еще одну человеческую книгу в свою юность и не делаю попыток снизить его боль, ибо я человек, а не врач, а диагноз только такой: «Острая марийная недостаточность», лечить которую только методами, не прошедшими клинические испытания, в его случае не мешая с другими препаратами и так далее. Но ясно одно: его Мария с другим, даже если она одинока, потому что для такого человека как Безымянный не может быть компромисса, только грусть и все такое. Я это, например и непонятно откуда, знаю, и говорю лишь:

– Да, и я рад, что увиделись.

Изменщица в это время целует Глупого, Тихоня – Наивного, Олень пьяно смотрит в стол, помирились, неженки; лишь мы с Безымянным смотрим друг на друга, пьем, и замолкаем на минуту, чтобы не спросить о самом главном, ведь он не спрашивает, как часто она любит других и как часто мой Друг ее теперь любит, а я не спрашиваю у него, не видел ли он моей Марии, которую я упорно, несмотря на Ириных воробьев, продолжаю искать. Пьяный круг замкнулся; выходя из бара, железо громынуло на ветру, остается лишь выпить еще и танцевать сицилиану в одного под дождем внутри серого города, ведь хороший вечер, че, да еще и пятница.

4

Вспоминая знакомство с воробышкой (а теперь по-другому и не сказать) Ирой, пусть эпиграфично, однако...

Сидел и смотрел куда угодно, лишь бы не на лицо ее, не в глаза ее, а здесь бум, убит шальной пулей, а мысли спутаны в тугую сеть. Зеваю, оправдываюсь; разве можно оправдываться за защитную реакцию, в которой больше смущения, чем усталости – соотношение один к ста, знаешь, если не к тысяче, пока синяя бахрома подстоля щекочет ногу. Например, осознание того, что синяя бахрома щекочет не только МОЮ ногу – так вот же она, заветная близость, значимость, смысл; слова на ветру, приращенные к обстоятельствам, превращенные в слова без всякого ветра [кругу конец, замкнулся]; бык, выращенный на убой – вот он я, вот она, красная пряность нитей ее существования. Бык страшен? Нет, ничтожен, ведь быку машут красным, и он мечется от слов к делу, от дел к сигаретам и словам; приходилось сидеть в том красивом кафе и смотреть куда угодно, лишь бы не на ее лицо.

Хирургия прямых вопросов, завуалированных вопросов, а спустя день ничего не становится яснее, а лишь сложнее – все УЖАСНО усложняется, когда как наоборот должно стать чем-то необязательным и простым после первого прикосновения и поглаживания, а тут и выходит, что есть только глупые быки под цветное мелькание красной тряпки, отведение глаз и удивление, помноженное на сто. Ее вопросы сменяются моими насильными вопросами; игра переходит от ведущего к ведомому, но роли не меняются – правда теперь тряпка на быка наступает, все больше его раззадоривает, злит. Вопросы разнятся категориями и значениями, нельзя сказать, какие важные, а какие нет: ничтожнейший обретает глубинный смысл, а самый нужный остается незадачным и ненужным, мне кажется, будто в мире быков и тряпок это означает УСЛОЖНЕНИЕ, но что же тогда называть упрощением? Скорее, мир без вопросов, мир, спрятанный в холодных ладонях и абсолютной тишине, подаренной парой блестящих глаз; это разве просто, спрашиваю? Да, ужасно просто. В этом суть симбиоза быка и красной тряпки – в отмене игры; укутавшись в раздражающую тряпку, бык уснет – так в двух словах и ужасным слогом и объясняется мое мнимое упрощение.

[А Ира сказала три слова и меня понесло вновь]

..просто слова вроде «ты мне нравишься», сказанные в контексте этой странной категории, называемой беседой – иногда звучат просто так: либо вообще безо всякого смысла, либо же такие слова и несут в себе **ВООБЩЕ** весь смысл всего когда-либо сказанного человеком. И вот, когда фраза сказана и немота напала на меня, произошел скулёж моих мыслей и восторженное великолепие ее скул; я задним умом отметил: «у двух слов одинаковый корень», а значит у меня вовсе не остается мыслей, раз я замечаю подобное, действительно, вот что со мной игриво сотворил мой поиск – я с каждым днем уже все меньше человек и все больше – разъяренный бык. Бык не понимает просто так сказанных «может, хочу, что бы ты остался», нет-нет, бык слышит лишь «останься» – и позорно бежит, прикрываясь обстоятельствами; почему именно ее воробышские скулы? Скулы Марии, всего две, а не восемь, вот опять пример дурацкого усложнения – в поисках смысла, а ведь упрощение, знаешь – вовсе не думать о Марии; упрощение – это вроде бы как стать спокойным быком и принять красноту тряпки как нечто должное, закутаться в нее, вместо того, чтобы туристом бродить по улицам ее Мадрида и принять всего лишь одно слово шепчущих губ – «останься»; да, да, да – вот чем должен стать бык, вот чем должна стать та, та... та.

Дожили, я теперь – это разговоры о себе и мысли о вопросах к ней и о ней; а что же она? Забытое чувство школьника, синдром школьника, когда нерешительность и япровожа-тебяможно – и она со своей центральной частью, вокруг которой мой синдром и вращается;

модель солнечной системы за каких-то жалких два часа, хотя кому я лгу, себе не надо – боже, с каким бы удовольствием я бы превратил их в жалких пять или великолепных шесть!

И вновь немного о Ире с ее крылышками и нагловатым воробьиным клювом [почему воробей, ведь либо синица, либо воробей, одна вторая, половина выбора, почему из двух вариантов мной выбран наименее подходящий?], о Ире, которая пришла на смену и теперь нахально борется, бросает вызов придуманной; посмотрим, че.

Случилось превращение человека в быка пятничным вечером и я, честно, никогда бы не подумал, что скулы могут быть такими глубокими, глубже впадин и морей, и теперь уверенно делят второе место с парой ее безоттеночных глаз. Оправдание за оправданием, подстановка: слова вроде «пятница» и «скоро буду» – элементы паззла, знаешь, разрозненного и в то же время единого; я понял что-то вроде того, что зрение, выданное однажды лишь для того, чтобы смотреть и не видеть порока, видеть светлое в бокале темного, такое же полезное это зрение для крота, как и я для нее – по-другому и не скажешь после этого вечера. Долгими часами после я трогаю ее холодное лицо и горячие ноги, удивляясь такой странной перемене значений. Шагает ножка секундной стрелки, происходит у нас моргание парой глаз, цокание языком – и все переворачивается с ног на голову, когда она говорит, неизменно улыбаясь:

– Если я никогда тебя после не вспомню?

Отвечаю просто:

– Значит и я никогда больше не вспомню и тебя.

Хищный профиль, даже пьяному он покажется опасным и никак не милым, вот она, цикорий и сахарозаменитель из мира Марии; не стихия, как положено, но что-то очень близкое этой самой стихии по духу, шаг секундной стрелки – и все ужасно упрощается, из сложного уравнения становится вовсе простым, донельзя, ведь в таких нельзя влюбляться и нельзя НЕ влюбляться, с такими как она следует лишь считаться и либо позволить ей запустить в себя когти, либо запереть ее в толстой клетке, но даже запертая она несомненно будет приковывать взгляды, удивленные, улыбчивые. Пантера с воробьиным раскрасом.

И, разумеется, мы с ней сливаемся в удивительной сицилиане, настолько же древней, насколько же и забытой, ее плечи срастаются с моими пальцами, мои пальцы срастаются с ее шеей, а в голове у меня музыка и ощущение, будто кто-то пожирает нас взглядом; нет, нет, это все она одна. Мастерство ее губ заставляет терять голову и не находить ее, не ПЫТАТЬСЯ находить, ведь она – ведущая в этом парном танце, когда я лишь пытаюсь успеть за ней и пытаюсь не думать ни о чем, кроме нее; метафоризирую вновь: бык становится человеком, чтобы после стать игрушкой, резиновой костью для ее острых словно нож зубы. Игрушки вроде меня могут лишь осознавать свое конкретное положение, они не способны быть романтическими и придумывать сложные комплиментарные конструкции, им должно, им обязано лишь хотеться двигаться в такт с ней и такт этот нарушать, делать его сбивчивым и нарочито неправильным, несовершенным; вот и мне, как игрушке, очень хочется делать все как она просит и нарушать ее приказы, ведь у нас с ней теперь много всякого: игры в бразильских шпионов, когда мы еле знакомы, игры в друзей по переписке, когда мы ногтями выводим на спинах друг друга адреса; играть, танцуя и насвистывая сицилиану под горячностью одеяла, не замечая сбившихся простыней и разделения одного человека или на два, или на десять разных личностей; наши вещи натягиваются после танцев, чтобы неизбежно вновь полететь на пол часом, двумя, тремя позднее, и я отчаянно не понимаю, зачем тогда вообще надевать их, почему не быть первородными, единственными, честными, настоящими?

Зачем слова, когда слова не нужны; познание упрощения за неделю, краткую, насыщенную; ни одно слово не опишет этого состояния, этого чувства – потеря себя и заново себя обретение, так что заклинанием, разумеется, на латыни или же ее древненемецком, где на втором месте обязательно идет сказуемое, а уже после обязательно обращение: пантерный воробей или Ира, как больше нравится, золотце...

Луна мостит дорогу под тяжестью моих шагов – я в этом танце лун и дорог лишь случайный попутчик, моя обувь – безликий партнер, я – безликий партнер, то, что я шагаю не значит ничего, равно и как я шагаю, ведь так мог бы шагать каждый; хорошо, что луна выделила среди других именно меня. Моя Венеция приказывает мне идти не спотыкаясь, продолжать свой бессмысленный путь и думать о конечной цели: направо, до дома Матильды, не посмотрев ее окна, после прямо, углом пересекая площадь, которую мы называли Конти Дамор, выйти и отдышаться, покурить, быть может, посмотреть на сияющий огнями канал, потом вновь направо, прямо, прямо, и налево – и на условной границе Сан-Марко и Кастелло наконец остановится, не оглядываясь. Может быть, покурить еще. Отправится в самый дальний конец моего ночного пути, не обращая внимания на лицемерие этих, в масках, и искать взглядом хотя бы одну пару, неумело танцующую сицилиану в эпоху, когда с гораздо большим удовольствием они танцуют вальс или отплясывают ритм-энд-поп.

Меня окрикивают, зовут, трогают голосом за плечи, так что остается лишь отмахнуться и идти дальше. Матильда кричит из окна: «Луциан!» – а я лишь нахлобучиваю шляпу пониже и продолжаю свой неторопливый шаг от камня к камню, от веселья к затишью; Венеция – не город тишины и особенно сегодня, ведь в толпе я ищу себе странного партнера для Богом забытого танца – я ищу САМ забытый танец и САМУ забытую музыку в кромешной тишине и бездвижии, куда уж проще? Я нарушаю свой ритуал – я хожу так день за днем, но с Матильдой всегда здороваюсь – сегодня просто не хочется, сегодня просто этого не нужно, ма белла, прости меня, я пока слишком трезв своей дорогою... Луна светит, моя Венеция благоухает и кричит надрывно, экий пережиток прошлого; я один остался верным традициям измен и иссохших фонтанов, хотя изменяют ночью все и осушает фонтаны чуть не каждый – но дело же вовсе в ином, верно? Кто-то любит женщину прямо у стены, на тесной улочке, их лица скрыты масками – так они словно бы сообщают мне, что полицию звать не нужно, что у них все схвачено и что хорошо им, куда как лучше моего – что же, что же. Всего одна ночь есть у них, чтобы полюбить друг друга, сделать из этого символ – и да, я принимаю и это тоже, так же, как и то, что луна светит, уставшие ноги продолжают идти, а губам хочется прижиматься к сигаретам и другим губам, ма белла Мати; Венеция, моя Венеция...

Выхожу к каналу и болезненно смотрю на Дзатерре, вспоминая там себя, Матильду, луну прямо как сейчас и вкус крови на своих губах, это было ужасно давно и словно бы не настоящему, но и это тоже вполне в духе моих принимаемых вещей – я почти забыл, но тут же вспомнил, как у нее пошла кровь носом и мы, смеясь, списали все это на мой счет, потому что я был моложе и всегда платил за нас двоих: так и на той удивительной набережной мне пришлось заплатить и за это тоже. Мы танцевали на ней джаз и твист, рядом на руках под динамичную музыку танцевали другие, подростки пили, взрослые препирались, кто-то зачитывался испанцами, а кто-то был испанцем; мы танцевали с ней редко, но всегда обязательно джаз или твист, даже во времена маскарада и во времена Ночи в нашем вальсе было что-то от обоих стилей, руки дергались, ноги хотели стукнуть о мостовую вместо плавных линий – ведь для плавности существуют каналы и их обитатели, а ноги, наши ноги – для ритма. Мы никогда не придавали этому значения и всегда танцевали твист, покачивая легко головами и запрокидывая их, пока однажды кровь из ее носа не оставила два пятна на белом джемпере и следов на моих губах – теперь же ничего этого вовсе нет. И Ночь уже совсем не та, что прежде – хоть надевай маску и иди вперед, размышляя о силе искусства и слабости отбивающего ритма ног; прямо еще шагов эдак двести, пока улица не заставит повернуть направо.

Парочка давно осталась позади, со мной вежливо поздоровался полицейский. В форме, я – в костюме, взятом напрокат у моего друга, со смешным париком и в синей маске (оба наших

костюма – облоочки и лишь карнавалыные штучки, в этом мы братья); он спросил у меня сигарету, я достал ее из-под кафтана. Вот и приехали. Двое костюмированных стояли и курили одни и те же сигареты, разодеые, под светом белой луны, на площади играла музыка, люди предавались танцам, общению, и таинству этой удивительной ночи, пока мы понимающе глядели друг на друга. Мы оба принимали участие в маскарде, на одной и той же стороне, хоть и находились в мыслях за километры друг от друга. Он спросил меня учтиво:

– Куда направляетесь?

– Вообще в Кастелло. Но может дойду и раньше.

– У вас намечена встреча?

– Нет, ищу партнера для танца.

Он посмотрел на меня странно. Он не знает, что я хочу найти не партнера, а сам танец – это прозвучит глупее, но зато честно. Спрашиваю, докуривая:

– Передавали про беспорядки?

– В тех краях ничего вроде. Там лишь пьяные спят.

– Кстати, я ищу не партнера, а сам танец. И пьяные везде нынче. – как мне показалось, с долей грусти он кивнул, словно бы понимая и соглашаясь.

– Верно говорите, пьяных действительно очень много, но на то это и называют Ночью. – закивав, я удостоверился, что говорил он это с настоящим сожалением. – Хороводы целые... но вернемся к танцу: конкретный?

– Да, но я не скажу вам, какой, извините.

Полицейский пожимает плечами, словно бы говоря: это вне моих полномочий.

– Найдете сами?

– Или же сам не найду. – поймав его улыбку, я медленно киваю и продолжаю свой путь. Краем глаза замечаю как, ненакурившийся, он достает свою и продолжает игры в никотиновых королей и их верноподданных; становится немного досадно.

Под ногами шелкает гулом мостовая. Хочется скинуть ботинки в Гранд-канал и пойти босиком, ведь сицилиана стоит того, чтобы заболеть ради ее поиска, чтобы вместо кровавых мозолей заполучить грязные пятна, которые не так просто вывести, ведь осталось не так много: прямо, направо, снова прямо и углом через площадь...

5

Заметка:

– выписать венецианские улицы, нарисовать карту океана, посмотреть фото осьминогов; курить, рисуя карту, грызть ногти (свои или ее//решить), выписывая названия, перечитать про Х. Келлер, нацеловаться всласть. До 17:00. Писать как проклятый и устать, чтобы потом погулять под ручку. Тьфу, как ребенок, ей-богу.

Луциан:

Ноты Скарлатти в голове, шаг, маленький шажок, выпад; звучит первая нота, палец Скарлатти ударяет белую клавишу, а моя рука вздымается в моей голове вверх, чтобы описать полукружие, и замереть, отчаянно ожидая второго пальца, второй ноты. Танец венецианского Луциана удивительно хорош, лучше танца придуманного (ну, сицилианы), ведь танцуется он только в голове и немного – в реальности, стуком каблуков по мостовой, вымышленными взмахами рук... Танцую; в городе порока и синих масок он обязан стать чем-то большим, чем просто танцем, должен нести не свет, не смысл, а что-то еще, что забыто мной, а ими... неизвестно, но музыка исключительна: Скарлатти сменяется Бахом, а стучание по клавише – стучанием каблука; в голове я припадаю босой ногой, коленом к мостовой, а руку завожу за спину, чтобы отпустить ее вольной птицей, почему-почему-почему в моей Венеции больше не танцуют сицилиану на улицах, почему лишь мне одному суждено искать ее, чеканя шаг по мостовой, не находить и, придумывая, возвращаться обратно, проходя мимо как будто бы забытого и отчаянно зовущего дома Матильды?!

Матильда:

Луциан, зову тебя, кричу тебе из холодного окна, наполовину высунувшись из него и чуть не падаю – ты не слышишь меня, а все идешь, и стук твоих каблуков разносится по безмолвной улице, во время самой прекрасной Ночи из всех, что проводились раньше, приуроченной к очередной годовщине какого-то события. Я кричу дважды, трижды, ты слышишь меня, но не оборачиваешься, а все идешь по километрам вымощенной камнем мостовой и как будто бы не обращаешь внимания ни на что кругом: ни на темное небо, ни на тяжелый дождь, льющий прямо на тебя, ни на толпу, изредка выходящую тебе навстречу. Смотрю сверху – отсюда кажется, что свет венецианских фонарей кажется тебе каким-то другим светом, дождь не кажется дождем, а других людей словно бы не существует. Луциан – кричу тебе, зову, для того, чтобы ты поднялся, не снимая шляпы, а выходит, что кричу тебе лишь для того, чтобы ты не услышал – твой путь словно бы намечен заранее, заранее происходит от твоего выбора и последствий этого выбора. Я пьяна и в четвертый раз кричу тебе своим фальцетом: «Луциан», – чтобы ты наконец услышал, кричу что-то еще и еще сильнее машу рукой, чуть не вываливаясь. Мой Антон подходит ко мне и зарывается лицом мне между лопаток, целуя там и положив руку на правое плечо, но ты не увидишь его, если все же помотришь, мы в тени, а высунулась одна только я, максимум, что ты увидишь – руку Антона, но признайся, что увидеть руку гораздо лучше, чем лицо, смотрящее с сожалением на тебя, мой Луциан! Он целует меня, я уже не вываливаюсь, и смотрю, как ты все так же идешь прямо, чтобы потом свернуть в направлении Канала, чтобы вновь искать веселья или чего еще ты там можешь искать? Поворачиваюсь к Антону, а он спрашивает, зачем я звала Луциана, когда он рядом, а мне лишь остается ответить, что Луциан – символ моей Ночи, потому что синие маски мы носим лишь однажды в год, тогда как иные маски приходится носить постоянно, и именно этой ночью одни

можно сменить на другие, в темноте стать честными и полюбить незнакомку или незнакомца, прикрываясь древними традициями, прячась от полиции и все в таком духе. И я добавляю, что помнишь, Антон, я ушла гулять без него однажды и мы встретились, а Луциану с тех пор не нужны синие маски и ахаю, и охаю немного, а Антон слышит это в четвертый раз от меня, каждый год он спрашивает одно и то же, четвертый год я зову тебя, мой Луциан, подняться этой самой ночью к моей квартире и самому выбрать любую понравившуюся пластинку: Стравинского, Баха, Деницетти или ужасного Скарлетти, или же – латти, не помню, как именно, но он никогда меня не слышит, никогда не поднимается. Так и Антон никогда не смиряется с мыслью, что Луциан однажды обязан подняться и своей синей рукой поправить мою маску, а другой рукой – иглу проигрывателя, чтобы под Баха, Стравинского, Деницетти или ужасного Скарлетти [о, – латти] мы как раньше могли бы станцевать твист, джаз, но никогда – тот странный и почти забытый танец, потому что...

Полицейский:

...потому что на Дзетти двое затеяли пьяную потасовку и мне никогда не приходилось прежде видеть такую отвратительную картину, хотя в ней ничего нет отвратительного, так, мелочи. Дорогие костюмы разлезлись по швам, обнажили плечи своих хозяев и испачкались, когда двое пьяниц в масках повалились в грязь, ни на секунду не останавливаясь. Кровь, слюны и грязные разводы выступали на белых рубашках и голубых сюртуках, проклятия на смеси из двух языков, застывшие слезы на лице одного, который в порыве пьянства пытался было выхватить декоративную шпагу, но второй случайным ударом выбил ее, а в темноте ее они найти отчего-то не смогли. Заплыл у одного из них глаз, лицо стало наполовину грушевого цвета и половинка его стала формой груши, а прохожие ходили мимо, улыбались, но ничего не делали, лишь одобрительно кивали из-под своих расшитых золотом синих масок и желали господам приятного вечера; такие парочки бесстыдно любили друг друга чуть позже в подворотнях и возле подъездов, даже когда я просто ходил мимо и извинялись, потому что сегодняшней ночью это было допустимо – единственная ночь, когда влюбленным не нужны кровати, а нужны лишь открытые пространства и маски; я впервые дежурю этой ночью и еще очень многого не знаю о нравах незнакомой, как оказалось, Венеции...

Вспоминаю человека в синем костюме – он не единственный, кто этой ночью искал что-то в этом странном городе, ведь почти каждый сегодня что-то ищет и что-то обязательно находит: в этом весь смысл сегодняшней Ночи, третьей ночи карнавала: такие как он, не ищущие женщину в маске на ночь, вынуждены бродить в такой ливень, совсем его не замечая, чтобы дойти до Сан-Марко, Кастелло или же до самого Сен-Мало, если во всей Италии не найдется того, что им нужно – я даже немного понимаю их одиночество, древнее и словно бы пережившее с кровью от порядочных предков, я сам бы искал на их месте что-то, что не поддастся описанию, что нельзя выразить, вот и приходится использовать синонимы вроде «сицилиана», «тайна», «жизнь». Мы курили, я смотрел в его глаза и когда он сказал, что самому ему это не найти, я хотел было предложить поискать вместе – просто мы бродяги одной породы, вышедшие этой ночью в поиске ответов, в поиске смысла и смутных очертаний. Хорошо, что двоих пьяных увезли – может, пойти вслед за ним? Но тогда я буду искать именно его, чтобы узнать точно, что он ищет, чтобы задуматься – того ли ищу я сам, тогда его поиск станет чем-то большим, чем мой поиск, потому что лишь, что...

Луциан:

...что сам я, увы, не могу разобраться в своих шагах и в ослепительном сиянии белой луны, в отсутствии ветра и прекрасной погоде, если ноты Скарлетти не зазвучат у меня в голове и рука не будет вскинута, чтобы застыть, а потом чтобы уйти за спину; а вот господин, идущий навстречу, пьян, и мне кажется, что он самый счастливый человек в Венеции – на нем тоже нет маски, лишь краснота возле глаз.

– Там одна лишь грязь. – Говорит мне он, чтобы я знал, но я знаю это и так, ведь я же не слепой.

Вовсю льет дождь, за пазухой мокро, а на стенах танцуют искры дьявола, похожие на неоновые стрелки: прямо, потом налево и снова...

6

– Она заводит меня в тупик, знаешь, и даже ее поиски заводят в тупик. Потому что ее нет, ну, как обычно у меня это заведено...

– Действительно. – с легким раздражением говорит Друг. – Но ведь ты именно поэтому и ищешь? Потому что нет, а смириться с этим не можешь, верно, обязательно нужно чтобы была?

– Да, как-то выдумал все это просто...

– Свою Марию? – на всякий случай интересуется Друг.

– И даже необходимость поиска.

Смотрю на него, на Друга, и понимаю, что со мной, в чем мой диагноз: у меня хроническое выдумывание небесного кренделя и последующее за этим его поедание, которое нужно лишь в той степени, чтобы не оставаться голодным, ну или выбитое гвоздем по камню правило: «кто-то всегда ОБЯЗАН быть голодным», выбитое специально для меня напоминанием и поучением, непреложным правилом. Моя рука, одна из восьми (ах, что за чудные отсылки в жизни к моему Роману), протягивающаяся к лицу очередной псевдомарии, останавливается, чтобы уйти за спину, так и не дотронувшись до лица ее, а может, чтобы пригладить мои отросшие волосы, а не ее недавно стриженные. Вот и все, мон ами, вот и все.

– Я ищу ее лишь затем, чтобы никогда не найти, тысячу раз же объяснял, сам поиск – главное, а она второстепенна, потому что... ну, я так решил. – под закатывание его глаз я продолжаю. – Мне так гораздо проще, вешать ярлык с ее именем на любую встретившуюся на пути, а потом ярлык снимать. Да. Да, снимать, понимаешь, не могу объяснить, в чем тут настоящий смысл, но он есть, в голове это звучит куда лучше.

Конечно, звучит лучше, в голове всегда все звучит лучше, ведь чему учат классики – тому лишь, что можно быть нечесанным и поэтичным сорокалетним аргентинцем или португальцем, чтобы поэтика сыпалась из тебя монетками сдачи автомата кофе, но, увы, я – русский, а значит косноязычный, а что самое плохое, что я не обычный русский, а пока еще маленький русский, от этого все и беды, неумение сформировать мысль и облечь ее в доспехи словосочетаний, ведь все, на что я способен – говорить лишь: «в голове это звучит лучше» или «кажется, да». Хочется одновременно сказать все и не говорить ничего, потому что борьбу внутренних голосов и противоречий и не заглушить, и не озвучить, с ней даже особенно не считаешься, остается лишь спихивать все на поэтичность ситуации, которая на деле является лишь продолжением фантазии: красота в моей жизни то присутствует, то нет, то она заполняет меня, а то хочется вытошнить все то, что делает человека отличным от другого человека

– становление тенью-

и все сплошь из этого выходящее. А Друг все смеется над моими попытками объяснить необъяснимое, эх. Для этого ли дан человеку язык, дана ли для этого литература? Забыть о себе, о языке, отдаться на поклон автору и впустить его голос в свою голову, на секунду или час забыть, что можно размышлять, стать губкой – беспрестанно поглощать информацию, чтобы однажды ощутить себя выжатым (и тогда закричать: «а, к черту», «а, ну и пусть») и стать другой вовсе породой человека. Так легко и так необъяснимо сложно – что и говорить, в голове все всегда звучит по-другому, но такое Другу сказать сложно, ведь его палец курком на взводе у виска, хоть он и не такое уже слышал, но мы слишком, че, разные, нам слишком многое непонятно друг в друге и в самих себе, вот оно в чем дело, Дружище, так что давай спихнем все на то, что в голове – да, там действительно все куда как логичнее.

– Не так ищут, понимаешь? – Начинает в который раз объяснять мне Друг то, что в принципе объяснять нет смысла. – Нельзя искать, не прилагая усилий, всегда нужно совершать даже ничтожное напряжение. Кстати, как ты мог заметить, – дополняет он. – я уже наполо-

вину сбрендивший, как и ты. При живой твоей бабе я даже выслушиваю, а не опровергаю твои поисковые записочки, которыми ты говоришь.

Вставляю:

– Дело субъективно. Что за записочки?

Поправляет и не отвечает, конечно:

– Я тоже не планирую раскрывать всех карт. – И, к моему прошлому суждению возвращается Друг. – Кстати, совсем нет, очень даже объективно, наверняка ты не первый, кто подобным занимается, дуростью подобной. Это все эта, как же ее, профанация, которой ты профанируешь святость исканий и метаний людей, которые, как бы это сказать попроще, – задумывается он и выдает. – которые не ты, короче.

Задумчиво чешу голову, задумываясь, в голове вновь сумятица, неразбериха, улица вновь шумит существованием и отнимает у меня внимание, мысли, как и обычно рядом с Ним, растворяются в пару курева, я говорю и спрашиваю:

– Не понял. Разве я так плох или же наоборот, хорош?

– Да ну брось, ну как не понять, – начинает злиться он, размахивая конечностями (конечность, точка, какой же великий нам все же достался язык, однако зачем мне сейчас это внезапное прозрение, надо бы вставить ее в диалог). – Ты забываешься, ты приравниваешь себя ко всем, кто своим поиском делает хоть что-то. Короче, оскорбляешь каждого, у кого есть мечта, цель, задача, свой путь, свой поиск, даже своя, мать ее, Мария, понимаешь? Задалбываешь меня, навряд ли говоришь это всем – лишь мне, ведь кто там у тебя есть еще, и мне приходится слушать и оспаривать твои так называемые «методы», твои слова, хотя я с большим бы удовольствием до клубешника бы доехал. А тут ты со своими осьминогами, и я такой – «да-да, Антоша, славно, славно» или же «нет, постой, твой поиск»... Тьфу! Словно бы я несу за них ответственность, даже словно бы мне нужно ее нести! Морду бы тебе за такой пустой...

– Подожди-подожди, – кладу я руку на плечо Другу и улыбаюсь беззлобно. – это как же я оскорбляю?

– Внимание, пародия. – смотрит на меня серьезным голосом, после чего принимает смешную позу и продолжает, изменив свой голос, намекая на меня. – Это религия, религия поиска – ты приходишь в их церковь, забираешься на алтарь, снимаешь ботинки, кидаешь в того лысого справа – ботинок летит и описывает...

– Ну не усложняй, – молю его, замерзая и улыбаясь. – Тем более не похож.

– Как раз наоборот, вылитый. – Отмахивается. – Описывает дугу и бьет лысого прямым в лоб, что-то щелкает – он оскорблен, поднимает повыше одну руку, другой трет лоб, ругаясь, начинает вслед за тобой лезть на алтарь, когда ты говоришь ему, что поиска нет. Кричат – «неверный!», «сжечь!» и все такое. Представим, что от удивления он пластом падает на спину, ломает ногу или руку? Представим, че. И в итоге лежит он, несчастный, лысый, с прерванной молитвой, сломанной ногой и твоими словами в голове про то, что искать можно и так, без его религии. А вокруг толпа шумит и костер складывают.

– И? Что за сапог, алтарь, нога...

– Всего лишь детали, знаешь. – загадочно разводит он руками.

– Чего?

– Унижения, которое ты всем вокруг причиняешь – ведь и я ищу, и тот абстрактный лысый, и каждый, ведь все ищут, планета крутится вокруг этого древнего поиска, даже Адам и его дети что-то искали, помнишь, сам тысячу раз прежде говорил? Издревле так было, миллиарды людей умирали ради какого-то поиска, чтобы в итоге... – Разохотившись на слова, Друг повышал голос, размахивал руками и в своей манере меня спародировать неплохо преуспел, че уж там.

– Ладно, а скажи, в чем смысл сапога?

– ..стать не теми, кем мы видим друг друга в зеркале, Антоша! Что?

Стучу зубами, но повторяю для него, для него я могу повторить еще даже целых пару раз:
– Сапог. Что с сапогом, почему без него нельзя было рассказать?
– Просто деталь, как и твоя любая деталь, как твой ленивый поиск.
Я поднимаю от удивления брови и говорю почти что оскорбленно:
– Знаешь, он не ленивый, а самый как раз-таки активный, да.
– Так же и сапог. Возможно бросок – и есть смысл гораздо больший, чем просто глупая деталь глупого сравнения для того, что ты зовешь поиском. Но это не поиск.
– А что это тогда, прости?
– Недотрах. Возможно, психический, поэтому где там твоя Ира живет? Поехали, с ветерком, а по бензу рассчитаемся после.

Улыбаюсь; в мыслях он прав, в словах же, в словах... где истина? Ничего в ней нет, в этой истине, слова звучат словно бы вычитанными где-то и словно бы принадлежат мне: отчего так правдиво и так искусственно звучат слова о том, что я называю «поиском моей Марии»? Просто становится страшно. Ведь если мой поиск, каким бы он ни был, всегда будет приводить лишь к одной квартире и к одной только женщине – можно ли будет назвать это еще хоть как-нибудь, кроме как привычкой, Дружище?

Ира просит вслух, запойно и с чувством, все то, что понаписал – так вот, перечитаю сначала, чтобы прочесть вслух и громко, дважды или трижды, запомню все интонационные паузы, чтобы читая ей вслух, не сбиваться – и да, словно бы специально сбиваюсь; вот она, человек – сто два прилагательных, закрывает глаза по моей просьбе (а должна – по моему приказу), улыбается все шире, шире, на мгновение становится серьезной, словно бы задумываясь, кто она и зачем она, после – обязательно улыбнуться снова; игры в доверие и в то, чтобы слушать, чтобы оставаться образом, а никак не человеком. Читаю; слова вышагивают по темной комнате, держат своими маленькими ручками ее за шею, пробираются к ней в уши через волосы, но это длится недолго, после – апокалипсис, конечно, смерть, когда она спрашивает, такая ли она, какой я ее считаю, а я сначала долго не могу подобрать слов, не могу рассказать, не задумываясь, какая она есть. Отсюда игра в чтение перетекает в игру в сто два прилагательных; интересное число, потому что сотни ей мало, а больше – ну, знаете ли, посмотрим, посмотрим.

Список, очередь; надо сказать ей так и говорю ей так в запале: ТЫ неэффектная, сложная, взрослая, молодая, красивая, недооцененная, удивительная, запоминающаяся, улыбающаяся, головой качающаяся, рассуждающая, чувственная, смелая, замкнутая, застенчивая, противоречивая, желанная, злопамятная, добропорядочная, свободная, качественная, отрезвляющая, опьяняющая, разная, глупая, мудрая, забытая, нерелигиозная, роковая, простая, обижающаяся, прощающая, быстротечная, долгоиграющая, интересная, путешествующая, зависимая, храбрая, решительная, отличающаяся, женственная, ненасытная, влюбленная (?), ненавидящая, легкая, худая, лучшая...

И зачем? Чтобы выразить ее через то, что поймет она, что ей знакомо и вполне соответствует ее представлению, а из ста двух словами обычными выражено всего лишь сорок семь; скажу ей еще, чтобы здесь уже она ждала объяснений (и, разумеется, не дождалась их), скажу, несмотря на уже произведенный эффект, честно выпалю:

Еще ТЫ плотная, вечная, подкожная, кожная, похожая, непохожая, игровая, сыгранная, восточная, немного западная, количественная, верхняя, веская, бесшовная, цельная, стеклянная (или осколочная), дождливая, одинокая, пришитая, именная, неназванная, ошибочно названная, допеременная, способствующая, необратимая, правильно-неправильная, неправильно-правильная, прилагательная и инквизирующая...

Семьдесят шесть – и тут кончаются прилагательные, хотя и играем мы в «СТОДВА прилагательных», но в этом и суть, ведь они когда-нибудь закончатся, а литература и поэтика учат выражать одно через другое, предмет через предмет, а не через признак предмета, это я запомнил слишком хорошо; пусть так, Ирочка – ты не спрашиваешь правил игры, я кручу ими как вздумается, бум, и семьдесят шесть уже есть, баста, стойте, молю, остановитесь, прекратите повторять одно и то же, ну же...

А, кстати еще ТЫ ветер срываемый, блеклое посвистывание, когда хорошо, когда мало и хочется больше, когда больше – способно убить, уменьшение выкуренного, увеличение кровавого давления, сердце, душа, Швейцария,

[УЖЕ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ]

пантера, надежда, сыр с мёдом, стыд, смущение, вновь открытая честность, недосказанность, дружба, недружба, подкожный жар, сомнение воробья, окончательная уверенность, секс сказанный через мягкую «е», неуверенность последнего игрового прилагательного.

Сто одно, че. Скажу его – поставлю точку, скажу ей: «все, вот она ты вся для меня сейчас, ничего в тебе больше нет». А разве нет? Нет, вместо точки в игре в «СТОДВА» нужно ставить многоточие, классное и правдивое многоточие, как в словах, так и с ней самой это многоточие нужно, которое предопределяет что-то, что будет после, итак, сто второе пусть будет:

– безграничная...

И, только сказав, мысленно хватаюсь за свою голову, потому что слезы брызжут из ее глаз и сама она на верном пути, чтобы прилипнув ко мне, никогда не отлипнуть. Сто второе, конечно, и сыграло свою роль, выходит, и не сказать, чтобы это было ложью – в том-то и беда, что все сказанное оказывается чистейшей правдой.

Парумушур – пару тысяч квадратных километров, плоскогорья, выжженные холодом зеленые вершины, маленькие домики, галька, простые мужчины и их племянники, горы, вновь горы, горные водопады, люди, очень маленькие и далекие от того, чтобы думать и размышлять о насущном – лишь о вечном; огромный и пустой остров, который следовало бы назвать островом Одиночества; только оно имеет значение среди этой холодной зелени, только оно, настоящее, а не мнимое одиночество, непреложно, истинно, да, разумеется, настояще...

7

В беседах с Ирой всегда так хорошо задумывается, вот и теперь, обсуждая классиков, я думаю: каждый ли друг репортера – китаец, а не каждый ли китаец друг репортера; с уверенностью можно лишь сказать, что глухая и слепая девочка,

[стыкуем шаттл вместе: слепоглухая или глухослепая, слова-нитки на языке и чаша весов, к какой бы словоформе склонится, какая будет звучать лучше, если мной пожелается это вставить в текст Романа]

,глухослепая девочка – это я, она, ты, Вы, они, мы, граждане, обыватели, мещане, хомо сапиенсы и хомо русикусы (по аналогии с аргентинскими истерикусами), млекопитающие, люди, наконец-таки люди. Ира утверждает, будто бы все вместе мы – эта маленькая дикая девочка, все вместе мы вынуждены брести в молчаливых потемках, ожидая руки или же руки-щупальца сиделки или сиделки – учителя, а я на это возражаю в душе или соглашаюсь, мол, закономерно ли, что имя той славной женщины-Мария; Ира опять о своем, говорит, что каждый из рода вынужден бродить, не зная слов, не слыша слов, есть из чужих тарелок, пока однажды рука нашей М. не схватит нас и не шлепнет, вызвав горькие слезы, а я бы сказал, что вот это все и есть, ничего больше, пшик, хлопок – а люди с хорошим воображением зовут это жизнью, ибо...

[двухлетнюю слепоглую девочку научили видеть мир, понимать мир; она даже смогла писать книги и быть настоящим человеком в полном смысле; как, как, как; методы сиделки – жизненные методы, как она учила ее?]

Ира поражается и спрашивает: били ли девочку или давали ей сладкое, как объясняли ей, что значит звук или как выглядит женская талия, что такое вообще женская талия, как в слове «талиа» сосуществуют соседи – гласные и согласные, как ей говорили, что буква «а» – первая, но в этом слове идет второй по счету, что вообще бывает такая категория как счет, что вообще существует, – а я, думается мне, слепоглух и каждый второй, нет, первый – тоже. Это ведь жизнь, если обобщить: мечемся от края к краю и от крайности к крайности, не понимая, что все это – мир невидимый и беззвучный, как и все для слепоглухих, но появляется лишь она,

– М-А-Р-И-Я-

и мир становится миром, и пишутся книги, и открываются континенты и ты сам можешь уже стать уровня Марии, чтобы спасти других, а не ждать спасения, человечешка, ставший чем-то похожим на зрячего, острослышащего, великолепного... [если опустить первую и последнюю буквы, останется лишь А, Р, И – что, несомненно, ИРА наоборот; поразительно, поразительно]

Если бы это было текстом, то, отделяя часть от части были бы поставлены три холодные звездочки, вечный символ, знак, образ межевания мыслей, разноплановости мыслей – хотя и хватит любимой точки с запятой; скажи же, золотце, спрашиваю я невзначай у Иры, почему твой немецкий порой звучит понятнее моего русского, почему твои трагедии кажутся веселее моих комедий?!

А пока она молчит, я смотрю на нее и понимаю, что вот же она, правда – в отречении от себя, в вялой попытке свести все к детерминизму, к сенсуализму моей конкретности, в поиске и в тебе, Иронька, тебе (?), тебе (!); рассказываешь, слушаю и даже слышу – ничтожнейшим образом отгоняя стыд, ломая спресованные в иглы деревья и обещая невозможное, претворяя императивы в разряд необязательных просьб и наоборот,

[прямо как лошадь, бегающая по выдуманному кругу, возведенному в квадрат] —

,пока сердце трепещет сохнувшей и быющей о лёд рыбой, пока туман застилает меня, делает и сильнее, и задумчивее одновременно. Скажи, о золотце, продолжаю, почему твой

немецкий – не чей-то другой немецкий, почему он не чета моему детскому русскому, почему на нем невозможно выразить поиск стандартным словом «Suche», забывая артикль,

– [«Забывая артикль», вот, замечательное название повести или романа, надо бы обязательно записать] —

,вспоминая и специально его не подписывая, а так, просто словом, чтобы жгло твои веки и делало тебя немного несчастнее, сегодня четверг? Значит обязательным пунктом вечера будут игры в пунктуацию, пусть-то русскую или немецкую, не приносящую ничего, кроме как удовольствия и иностранной улыбки пожелтевших зубов. Поиграем вновь, о золотце, будем называть друг друга причастиями и нежными словами категории состояния, будь-то: «скучно, весело, сделалось темно, стало душно, пока не поздно» – все, что без контекста будет звучать дико или же наоборот законченно, ясно; если ты скажешь, что продолжать эти словосочетания не нужно – что же, никогда не поверю; докажи, докажи,

[поймай мой ментальный посыл, золотце, я посылаю тебе мыслью приказ: ВСТАНЬ И ПОДОЙДИ БЛИЖЕ, услышишь ли, примешь ли?] —

,поцелуем заставь меня поверить в то, что стало душно – без меня, сделалось темно – без меня, скучно – без меня, весело – со мной, и так далее, et cetera, etc., e.t.c... Ну же, Ириш, просто упадем в мои детерминистические объятия, утонем среди знания (или чувства), нахлебемся (ли) водой друг друга, называя друг друга чужими именами, не забывая акцентировать внимание на слове из двух букв, ставя вопросы без вопросительных знаков; выйдет что-то вроде: утонем вместе, че.

..среди погасших свечей и их мрачного света, разделенных на пару; – [ставлю маленькую свечу своему тщеславию] – и, конечно, глажу ее по лицу, дрожащими пальцами глажу, и опять говорю, а слова теряют смысл и растворяются в косноязычии, почему? Потому что маленькая слепоглухая – это, знаешь, я, маленькая слепоглухая – она, нет, ты; звукопись подводит, приходится выбирать между тем, как называть – «она» или же «ты», разницы как будто-бы и нет, хотя стойте, стойте,

– [прошу Вас, Антон Александрович, остановитесь, так стоит сказать тебе, пока одежда еще на нас и игры в немецко-русское не зашли слишком далеко] —

,разница колоссальна, потому что обращаясь через слово «она» все сводится к прозе (ну, подразумевается Мария, и все эти образы и осьминоги и танцы), а когда звучит «ты», все становится поэзией, размен купюры на монеты: купюра – жизнь, монеты – мысль и литература; почему, чуть не разъяряюсь я, почему слепоглухота проникает во все, к чему бы я не прикоснулся, почему в твоём лице проявляется лицо сиделки или сиделки-учительницы, о золотце, чем ты заслужила это ужасное местоимение – «она»; Ириш, научи меня быть спокойным, глотать тише и никогда не сомневаться в превосходстве содержания над формой, в превосходстве улыбки над молчанием, в превосходстве критики над осуждением, в превосходстве... [на первом месте всегда стоит нечто великое, на втором – нечто обыденное; ты всегда на первом, кто же тогда всегда на втором?!] ...над... [рационально объяснить бы тебя, вывести бы аксиому, формулу, теорему Ферма до года моего рождения, не выйдет, не смогу, нет; ты – набор эмоций и чувств, причем чувств и эмоций МОИХ, а не чьих-то; рационально объяснить твоё схоластическое значение через подстановку библейских клятв или обманов на найденной среди классической литературы Библии между Манном и Флобером, получится ли (?), сможет ли (?); игры в превосходства значений, все же].

Слепглушие, абстрактивная критика твоего образа и выжженный на черепной коробке образ, нет, выжженные линии твоего лица; помнишь книги, Иронька, что я тебе принес? Библиотечная полиция, преследующая пятерых виновных французов, однажды постучится в твою дверь – скажут «бонжур» и «са ва», и вежливо поинтересуются, нет ли запрещенной или украденной литературы; беги тогда, дурочка-золотце, ведь подаренные пьесы могли оказаться элементом контрабанды, ты беги, пожалуйста (закричу: эдэ муа силь ву пле), и буду держать дверь,

пока ты с этими треклятыми пьесами, проклиная меня, сбегаешь, ах, золотце, мне уже очень жаль, что эти пьесы – потенциальный разлучатель и прерыватель наших встреч; беги, пожалуйста, я задержу их – и взгляда последнего не брошу, потому что...

[ты умоляешь меня: читай, все что есть, я повожу плечами и читаю, че, как раз сегодня написал немного истории дальневосточного мальчика]

... – потому что осьминог, мальчик, та еще сука – ждешь ее, ждешь, а она вся, – дядя присвистнул и продолжил. – и ни хуя. То есть в море ты или в океан вышел, а вот чтобы поймать... а, наука! – Плюнув за борт, заключает он. – Понял?

– Не совсем. – признаюсь я.

– Конечно, ты же своего дядьку не слушаешь, не крутой он совсем, моряк обычный и рыболов, куда ему до ваших этих, как их... педерастов столичных, дядя не такой. Зато скажи мне, эти ваши за море знают?

– А мне откуда знать? – раздраженно переспрашиваю, но опасаясь очередного подзатыльника, поспешно добавляю. – Дядь, ну то есть, ты же знаешь, поэтому ты...

– Да-да, конечно, – бурчит дядя, перекручивая в руках тугую проволоку. – А, что с тебя... Гля-ка: вот знаешь она зачем?

– Нет. Зачем?

– Другие закидывают ловушку, сидят, курят, спускают ее ниже и выше, это, – дядя крутил рукой, описывая ей окружности. – выжидают, во. Неправильный способ. У меня метод другой, особый, мальчик, я закидываю не в места их этой, как ее, ну, где они обитают, а в места, где их скорее всего и нет, и жду гораздо дольше, курю больше и все такое. В моих руках эта проволока вообще иначе, короче, работает. Другой смысл у нее, во, другое назначенье!

– А зачем? – спрашиваю.

– Потому что осьминог, сука такая, это драгоценность, алмазик восьмирукий, а я ювелиром всегда был по разным частям – ну и тут я он тоже, конечно. – присвистнул дядя. – Так, выходит, осьминожий промысел моего метода должен быть чем-то большим, чем промыслом обычного осьминога. Смысла в этом должно быть больше, понимаешь?

– Не совсем.

– Да ты и не поймешь никогда, куда тебе, молодой, – отмахивается дядя и засматривается на водную гладь. – Ветер поднимается. Знаешь чего?

– Чего?

– Так себе все же место. Мы не будем ловить осьминога здесь, мы пойдем дальше, на глубину.

– Но я замерзаю, дядь...

– И хер с тобой, – зло говорит он и улыбается страшной улыбкой. – ты же хочешь стать мужчиной? Уйти далеко и поймать своего осьминога?

– Да, – неуверенно говорю и ловлю себя на мысли, что желание рождено из другого желания: не облажаться.

– Значит туда, – машет рукой подальше от Парамушура. – в океан.

Мне страшно, судорожно глотаю; ветер и вправду крепчает, брызги ледяными иглами разбивают мое лицо, когда дядя добавляет.

– Главное – поймать не простого осьминога, тебе нужно поймать того самого осьминога.

– Того самого?

– Да, блядь, того самого.

– А как я узнаю, что он – тот самый? – предчувствуя ответ, спрашиваю у бывалого моряка, потирающего переносицу.

Но ответа не следует. Дядя, задумчиво глядя в сторону черных туч, лишь слегка улыбнулся и пробормотал что-то свое. Наверное, что-то вроде: «не ошибешься» – потому как другого шепотка быть и не могло, как бы фантазия не накидывала вариантов.

[ключевые слова для поиска: желание, удовольствие, дуализм, осьминог обыкновенный; различие поиска ЧЕГО-ТО и КОГО-ТО]

Ты спросишь, конечно же спросишь, и я отвечу, что у меня за Роман, знаешь, есть такая концепция литературы «потока сознания» и того, что можно назвать «классическим» романом, некий симбиоз фикшена и нон-фикшена, ужасно выглядящих на письме русской транскрипцией – знаешь, такое ключевое значение всего этого, идееобразующее, а ты так покачаешь головой и ничего не поймешь; Ира, Иринка, послушай лучше, а еще лучше смотри, что я нашел вот тут, между Манном и Флобером. Видишь? Кстати, книга Бытия говорит: и был создан сначала Адам, ну а после жена его; не думала, почему жена – безымянна и создана из плоти его, когда после мужчины появлялись из женщин, а не наоборот – наверное, в этом заключена суть библейского сексизма: Бог – он, Адам – он, сын Божий, не Божья дочь – все это лишь мужчины, тогда как женщины – кто они, зачем они, для чего они? Одна из самых главных книг утверждает: у первой женщины сначала даже нет имени, она лишь – жена ЕГО, а не женщина,

[контрмарка литературная, мной произнесенная и обсосанная (одно из значений данного слова; значение – являющееся предварительным, предшествующим): подреберье ныло, пока мы с тобой не встретились, а теперь вот взяло – и перестало; значит ли это, что ты – часть моя, ребро мое (?), значит ли это, что ты – мое продолжение и что с тобой я буду целым настолько, насколько возможно лишь,] —

в привычном понимании слова «женщина» вообще. А ты лучше чем молчать, хмыкни да приказывай:

– брось свою Библию, пожалуйста, иди ко мне, целуй меня, смотри на меня и трогай за, —
и я послушаюсь, конечно, и брошу, потом упаду сначала на колени, а после плашмя, если твой палец, [худой], опишет полукруг и укажет на холодный пол, знаешь, в чем бы я ни был, мне останется лишь упасть, повинуясь; шепчемся и я слышу в твоём молчании другие приказы, другие, но те ли самые, о которых подразумеваешь молчанием ты? В тишине у нас на двоих одно лицо, одно тело, одни и те же жидкости, одни и те же органы, работающие синхронно, и, Боже, как прекрасно, когда урчание моего живота перетекает в твое, и на двоих одни и те же мысли, фразы, языки; мы – клубок двух змей, настолько перетянутых узлом, что никогда не развяжешь,

[говоришь: я не достойна твоей поэтики; замолчи, прекрати, молчи, не говори глупостей, нет, вообще не говори ничего, ведь я пойму все лишь по твоему выражению лица]

к слову о слепоглухоте, поставим наконец жирную точку и не будем вспоминать больше историю Келлер: пальцами ощущать точки Брайля твоих губ, ощущать их всем, в полнейшей темноте и тишине радоваться тому, что ушей и глаз слишком много для удовольствия; отдаемся тактильности, золотце, засыпая с твоим все же именем на губах, а никак не с ее. Надо бы рассказать тебе про поиск. И про спрута, наряженного в камзол и синюю маску, а то читая текст Романа, не все наверняка уловишь, хоть ты и способная, не то что я.

8

Он закрыл черную книгу, потому что она окликнула: «эй, ну ты чего там?», – наутро книга была поставлена на принадлежащее ей место, глава осталась недочитанной, а ее улыбка выиграла его внимание, ну вот, теперь Библия на полке, а его рука легла на ее талию, когда она подошла чуть ближе.

– Уборка закончена? – спросил он, одновременно заглядывая ей в глаза и стараясь туда не смотреть. – можем теперь продолжить?

– Что продолжить? – как обычно, с вызовом, спросила она, ожидая его смущения. – Дурацкие твои чтения, разговоры или еще чего?

Смущение не заставило себя долго ждать.

– Ну, это ведь, говорить, – неуверенно начал Антон, а потом сам в это поверил. – Говорить, именно так, да.

Она улыбнулась, не убирая его руки со своей талии. Смотрела на него и все улыбалась, так, что его взгляд блуждал по пространству комнаты, потолка, окна – всего, словом, но только не по ней. Она не сказала: «пойдем» или же «не пойдем», она попросту улыбнулась – и ему не оставалось ничего, кроме как с талии переложить руку в ее руку, и повести самому, все так же на нее не смотря, ночным забавам продолжения, воды слонам и так далее.

по улицам города бродил он, Антон, питаюсь святым духом и святыми предзнаменованиями (как банально!), символами и образами грядущего Апокалипсиса, который распространялся лишь на одну его жизнь: дети почему-то ушли с замерзающих улиц, ледяной дождь возобновился, а ноги промокли, вот и все – так ему думалось, что будет через год, неделю, мгновение? По улицам сновали пьяные толпы, трезвые толпы, просто толпы – и среди всех этих толп возвышался его столп, покачивающийся на ветру, как флигель, отлитый из самого жалкого металла, грозящий распасться на атомы и принять внутрь себя химикат любой толпы из вышеперечисленных; ему думалось, что одиночество – искренне, поиск несуществующей Марии – безумно, но искренне, сигареты – искренне, пьянство – искренне, эгоизм семьи – искренне, а все остальное – уже отдает искусственностью. Бродил он, трезвый или же пьяный размышлением грядущего конца, желая уехать подальше и не желая уезжать подальше, потому что Ира почему-то обозлилась из-за разбитой чашки и прогнала в чувствах, и вот он теперь брел, размышляя о философии, метафизике, и сломанных проводниках его грустной музыки, которую ему никак не создавать, которую ему лишь слушать; знамения ужасающе разворачивались кроваво-красным полотном, рубцом по некогда гладкой коже: ни один ребенок, встреченный им, на улице остаться не пожелал, что могло значить лишь – времена испортились, у времен заканчивался срок хранения, да еще плюс Ира и чашка; счастливые времена олицетворяют наличие детей на детских площадках, целые чашки ну или когда не прогоняют, вот и все, что же тут криминального, в том, что время иногда очень внезапно портится?

[циклическое возвращение к самому началу, когда в жизни предыдущей была затеяна игра с поиском Марии, внезапно переросшая в целую философию и даже немного в религию]

Вот он подошел к человеку, спешащему по своим делам и легко одернул его за рукав. Нахмуренный человек повернулся, чтобы выслушать первый вопрос о Марии; цикличность работает следующим образом: он не видел ее, переспросил про цвет волос и ушел, оставив главного героя с вопросом, почему старик видел слишком много Марий и не видел одну, не видел ту самую. После главный герой подойдет, чтобы окликнуть другую спешащую по своим делам

женщину, чтобы она чуть не вызвала полицию, полагая, что к ней пристают. Главный герой слабо улыбнулся, ужасно замерз, и не увидев на телефоне пропущенных от Иры, не смирившись с их отсутствием, вяло поплелся домой, чтобы раздеться, налить горячего напитка и решить, что абстрактное куда лучше реального, что абстрактное не делает больно отсутствием пропущенных, и так далее, так далее...

Антон старательно выводил на полях текста Романа, прикидывая, куда это можно воткнуть и немного не понимая, зачем он это делает; делал это он, однако, с удовольствием, потому что текст вместо женщин и так далее.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ и АВТОР:

Сиротин Антон Александрович, двадцать три года, не женат, одинок на подкожном уровне, проживает один, начитан (в минусы), иногда горд (в минусы), несчастен (в плюсы). Переживает кризис (а кризис ли, когда хорошо) безработицы, бесполезности, неудовлетворенности собой, переживает (в т. ч.) разрыв со своей второй половинкой в парке (см. главы 1—2), проведенный по его инициативе, имеет тягу к...

* (в т. ч.) – в том числе

** (в т. ч.) – вот так человек (второе значение)

...курению, слабо выраженной алкогольной зависимости, ментальной тяги к наркотикам (наркотиком может стать что угодно; подчеркнуть, ВАЖНО), высок, худ, меланхоличен по своей сути, замкнут, но на людях открыт – попросту защитная реакция, голос скорее тонкий, чем нет, не имеет политических убеждений, может быть глупым, застенчивым, очень тихим. Цвет волос – русые. Особенных пример нет.

Собирает библиотеку, домой никого не приводит. (ПОЧТИ ЧТО НИКОГО, АВЕ ИРА)

ИДЕЯ РОМАНА:

– показать суть поиска через интертекст, через самовосприятие и реализацию смыслового потенциала героя, соотнести Антона (меня) с другими персонажами (Безымянный мальчик, Луциан, полицейский)

– показать суть поиска через что-то иное, будь-то: осьминог, Мария, сицилиана, жизнь, любовь, цель, чтобы вывести в итоге нечто общее и значимое.

ЧТО ЭТО:

книга, не дающая ответов, книга-иллюстрация и наглядное пособие, помогающая... (ЧТО помогающая? – прописать!)

КАК ЭТО:

концепции нет; сделать так, чтобы было удивительно, чтобы было [вау-эффект]

понятно каждому и не понятно никому, кроме одного лишь автора

Два дня спустя чашка была выброшена и забыта и двое вновь проводили время вместе.

(Посмотри на нее, Антон, ну же, дотронься пальцами до ее щек и проведи сверху вниз, а потом снизу налево, чтобы правая сторона ее лица осталась нетронутой, так ты покажешь ей, что ты человек и даже больше: человек со странностями, не любящий все правое и пред-

почитающий вновь и вновь уходить от иллюзий, да, от иллюзий существования правых сторон, ведь правые стороны – что это и зачем, как они существуют и ради какой цели, кроме как дополнять левую; понимаешь, что если правой бы не было, то не было бы и левой? Лишь центральная была бы, а тут уже ГОРАЗДО сложнее, потому как там нельзя вовсе не гладить что-то, не получится даже на глаз разделить, не выйдет никак сделать подобного, потому что... Давай без метафизики, в общем, гладь, докажи, что чашек никогда и не было, и униженного выдворения тебя не было тоже, докажи, что этим поглаживанием осталась бы только одна всего часть и твое чувство, а все остальное – так, в мире Марий и осьминогов)

Ира потянулась, улыбнулась и спросила, прищулив глаз, вылитый воробей, выглядывающий из кулака.

– А о чем ты сейчас думаешь?

– О всяком. – только и оставалось, что ответить ему. – О тебе и о твоём лице в основном.

– Мое лицо не такое интересное, – она зарделась. – я не вижу в нем ничего особенного.

– И зря. – чашка разлетелась в голове, ее перекошенное лицо выплыло само по себе.

Первая ссора, первое уходи. Да, и таким твоё лицо бывает, Ирочка.

Она остановилась, чтобы выдохнуть и что-то сказать, встретившись с ним глазами, осталась молчаливой.

Антон улыбался и пытался заставить себя гладить и правую сторону тоже, но у него не получилось. Взгляд ушел в сторону, ее лицо расплылось красивым пятном, свет освещал половину комнаты, не освещал другую половину, выхватывал четыре полки из пяти, одна находилась в слепой зоне прямо за его затылком, за окном плыл мимо город ледяным дождем, машины скрипели и бились друг об друга, самолеты поднимались в небо, чтобы врезаться в горы, люди влюблялись, чтобы расстаться, правые стороны не трогались никем, чтобы ощутить свою ненужность и подвести жирную черту под необходимостью левой стороны. Жизнь продолжалась. Ее лицо же было статично, вечно, потому что полки исчезали и появлялись вновь, свет загорался и гас, город за окном просыпался и засыпал, пока дождь то начинался, то прекращался, машины собирались на заводах, чтобы разбиться друг об друга, под тяжелым прессом превратиться в металл и снова стать машинами, самолеты смешивались с почвой, из которой однажды возведутся новые горы, люди умирали, чтобы дать пожить другим, правые стороны... а, к черту правые стороны. Словом, все изменялось, все двигалось по кругу, у всего была как причина, так и следствие, все не имело ни начала, ни конца – лишь вечный круговорот физики, химии и любви, смешанных, жизнеобразующих. Везде была динамика, везде было движение и жизнь, все существовало ради чего-то и зачем-то, но ее лицо теперь...

Оно было неизменно прекрасно. Антон смотрел и думал: «описать его – и лишит смысла», – поэтому описав, он бы стал бы ненавистен сам себе, стал бы считать себя слабаком и глупцом, потому что выразил бы алмаз через речной камень, божественное – через реакционное, алфавит через жесты и так далее, и так далее.

– Ну что? – Ира улыбалась так, что единственное слово, описывающее качество этой улыбки было лишь «теплая». Да, сказала теплой улыбкой. – Что ты так смотришь?

– Пошли гулять? – и не добавил про чашки и чтобы такого больше не было.

Она поднимается на локте и смотрит на него удивленно.

– Там же дождь?

Антон уже встал, чтобы начать одеваться.

– И даже уже немного снег. – и прибавил. – А мы под зонтиком.

– Посмотри на этот снег, как он прекрасен и какой он мокрый, как что-то необычное. – говорит он ровным голосом.

– Нет, он уже тает, он почти вода, мне скользко. Да и это всего лишь снег, вечно ты. – делилась очевидным Ира.

Антон хмыкнул.

– А кому не скользко? Но мы им даже дышим и он падает прямо на наши лица, чтобы растаять, чтобы обязательно...

Ира повторяет заклинанием:

– Растаять. Рас-та-ять. Слово иногда бывает таким смешным.

Антон продолжает:

– И остаться каплями, потому он и прекрасен, несет в себе цикл, что ли, или как это назвать, – затягивается и протягивает руку к ее лицу. – Вот тебе.

– Что там было? – спрашивает Ира, не смотря на него.

– Капля, которая только что была снегом. Вот он, цикл, прямо на твоём лице.

– Мое лицо, получается, создано для снега или для циклов.

– Круговоротов! – подхватывает Антон и добавляет. – А еще для поцелуев.

– Ну хватит, не глупи, посмотри лучше туда, – отмахивается от него Ира и показывает рукой на толпу детей, кричащих что-то на своем детском наречии.

(туда и обратно маленьким человечком, Антон, с ней и без нее, Антон, ходи, молю тебя, ешь холодный снег и пей влагу губ ее, посмотри как она прекрасна и думай о чем хочешь, только не о ней, Антон, повторяй свое имя, говори о себе в третьем лице, ищи общества других, а не только ее, а то ты знаешь, чем все закончится – однажды она скажет ищи меня и давай выдумаем себе поддельные имена, чур я – Мария; почему бы не подумать обо всем, что рядом с тобой, что напротив тебя, гляди-ка: машины несутся навстречу друг-другу, светофоры меняют цвета, люди, ДРУГИЕ ЛЮДИ, А НЕ ОДНА ЛИШЬ ОНА, ходят навстречу вам и бегут от вас подальше, потому что вы ничем не интересны, совсем, кроме как значением, влиянием друг на друга, эй, прислушайся: уже у вас все темы сводятся у вас друг к другу и к тому, как вы друг в друга влюблены, нет ни одной темы на свете, которая бы не сводилась к этому, Антон, слышишь, понимаешь ли, дыхание – ради нее, подорожание продуктов – ах, как теперь нам с ней быть, кончились сигареты – что же нам теперь курить, скоротечность жизни – боже, что же делать нам друг без друга, вот и твой хваленый поиск, Антон, вот и твой хваленый осьминожий промысел, умоляю, не сближайся, не превращай ее в свою Марию, ты же знаешь, ты знаешь, чем все это кончится, ты же школьником уже выучил этот трудный урок!)

Дети сгрудились вокруг игрушечного самосвала, зелено-синего, стоящего в самом круге. Самосвал стоял недвижимо, дети кричали на него, заставляя сдвинуться с места. Все просто. Дети не были идиотами, они прекрасно понимали, что самосвал не поедет никуда, как не кричи, но эта игра доставляла им настоящее удовольствие неизвестно по каким причинам. Двое завороченно смотрели и восхищались этим безумным зрелищем.

– Как думаешь, знают ли они, – начал Антон. – что самосвал никуда не сдвинется с места?

– Я думаю, да. – задумчиво ответила Ира, с интересом поглядывая на них. – Но дети обычно глупые.

Антон покачал головой, потушил сигарету о дерево.

– Не обязательно. Они могут даже быть мудрее нас.

– Ты и из этого очередную философию выведешь? – насмешливо произнесла Ира. – Ты надоел их выводить, все это бессмысленно и только лишь тратит наше время, Антош, а ты вечно как начнешь придумывать...

– Значит, ты лгуныя и куда-то торопишься? – еле сморщился Антон.

– Вовсе нет. Просто зачем тратить время, объясняя детскую глупость, подчиняя ее этим твоим терминизмом...

– Детерменизмом. – поправил человек с чужой рукой в своей руке.

– Им, да, и с помощью него или с помощью еще чего-нибудь объясняя простое – им так захотелось, вот и все, чего ты?

Мальчик в синем пуховике и с таким же носом плаксиво обернулся к ним; подслушивал, сука:

– Это не глупость, не глупость!

Антон улыбнулся ему:

– Ты прав, не глупость. – И продолжил объяснять Ире. – Да нет, послушай, все очень глубоко на самом деле, очень сложно и в то же время просто до безобразия: самосвал – игрушка, созданная для детских рук, которые почему-то в карманах, а не на ней. Вот и все. Их руки в карманах, потому что холодно, а самосвалу – никуда без детских рук.

– Выведешь в то, что каждый из нас – самосвал в некоем центре, а руки наших кукловодов в карманах, поэтому мы и несчастны?

– А разве самосвал несчастен?

– Вполне может таким быть. – пожимает Ира плечами.

– Теория хорошая, но непродуманная и за уши притянутая. Я не об этом.

– А о чем? – отчаянно не понимала Ира. – Знаешь, тебя иногда очень трудно понять.

– Ну как, дети, круг, ненужный никому самосвал... им нет до него никакого дела. Стоят и кричат на него, зовут, ждут, что он поедет, понимая, что он никогда не поедет. Смотри, вон тот руки потирает, а тот хочет его ногой подтолкнуть, но они этого не делают, ставки слишком высоки.

– Какие ставки, Антош, дети просто кричат на самосвал... – подняла она брови.

– Брось, смотри глубже! Самосвал никчемный, важен не он, а его значение – законченности круга, тогда как крик их не означает крика – а тщетность того, что их руки, ожидающие в карманах, просто не способны...

Антон мог бы говорить, как обычно, долго, но Ира докурила и быстрым движением приложила палец к его губам. Подумала: «Замолчи уже» – а сама улыбнулась, потому что дети замолчали тоже и смотрели на них с интересом, а самый маленький ногой двигал самосвал, пока никто не видел. Чертенок с ногой-двигателем прогресса, замерзающий мальчик; на самосвал падал снег, а на пальце и на губах он отчаянно таял.

9

Снег и бесконечная грусть, смотря на нее; Антон, почему в душе тебе хочется плакать, а не смеяться, почему за улыбкой кошки царапают твоё лицо и высунувшиеся из-под одежды кусочки души, почему тающий снег – всегда и обязательно так грустно, так печально, Антон? Вспоминаешь чашку и думаешь о своих героях: о Луциане и безымянном Мальчике с его выдуманным осьминогом, думаешь о тех детях, которые уже встретились и о тех, которые еще не встретились, думаешь о литературных героях и героях настоящей жизни, почему она – не литературный герой, почему она – не герой настоящей жизни, почему Мария, а не Ирина, ради чего вообще тебе нужна Мария, Антон?!

Закрой глаза, предайся размышлениям, выведи жизнь в нечто автоматическое: закрой глаза и наслаждайся, а открой лишь тогда, Антон, когда она будет спать рядом и, наверное, думать, что и ты спишь, Антон, пригладь ее короткие волосы и отбрось все незначительное, все, что не подходит под категорию размышлений, будь-то: темная комната, ночь, завывание ветра, воспоминание и предчувствие беды и будущих игр, предчувствие ночной близости или ночного отдаления...

Антон, мой Антон, снег падает за окном, чтобы растаять: он ненастоящ, он неискреннен, любой снег является выдумкой, нет, весь снег, который не тает на ее щеках – глупая выдумка, игра в видение снега и игра в принятие лжеснега, так же и с детьми, так же и с изгнаниями и со всем остальным; что же остается, когда твоя рука, Антон, обвивает ее шею, а она сопит рядом, предвосхищая завтрашний день, зная, что дальше обязательно будет что-то еще, что остается, когда рядом с ней ты забываешь, что значит говорить, что остается, когда вам попросту не нужна речь, а лишь одна слюна на двоих, один голос на двоих, один смех (твой или ее, Антон), поделенный и равноценно распределенный на вас двоих, что остается, когда мир начинается ею и заканчивается ею, а не должен, предчувствуешь же; что остается, когда делаешь вид, что спишь и боишься разбудить нарастающим желанием, Антон, о, мой Антон, что остается...

Антон шел по улице и подмечал все то, что оставалось неподмеченным прежде: углы панельных домов, корки льда и снега, покрывающих грязные улицы, мусор, узором раскиданный по парку, нумерология вывесок и музыка из проезжающих мимо машин; на углу пересечения двое курили, один из них размахивал руками и громко матерился, второй пил пластмассовое пиво (пластмасса – качество стакана, перетекающая и на все остальное вплоть до человека); старые люди шли мимо еле-еле, громко шаркая ногами, детская площадка была заброшена морозным утром, люди толпились в ожидании трамвая, сдвинув воротники чуть ли не вплотную к шапкам, светило солнце, начинался новый день, новый отсчет, а Антон шел мимо, чувствуя себя счастливым, несчастным, всесторонне развитым и замерзшим; начинался новый отсчет, когда ей нужно было на работу, а Антону не надо было никуда и вот снова он изгнан, хотя чашек не билось, но и с работы ради него не отпрашивалось – эгоизм ли, гуманизм ли, чувство собственника ли?

Хотелось курить и (что самое важное), у Антона было курить, но он не курил, потому что было холодно, а все углы продувались насквозь, казалось, будто бы день говорил: «брось ты это дело, братан» – и советам дня необходимо было следовать; однако хотелось курить до ужаса и открывать новые грани самого себя и людей вокруг, хотелось встретить что-то необычное, вроде вчерашних детей с самосвалом, но такого не встретишь утром, как не ищи, дети в шко-

лах, если опять не объявили карантин, хотя точно не объявляли – Ира бы обязательно сказала, не зря же учит; курить хорошо под протекающее мимо тебя событие, происшествие; в остальных же случаях – ужасно, невообразимо холодно.

Сюжет сводится к категории факта: переборов себя, Антон курит. Садится в другой трамвай, не в под номером тринадцать (ах, нумерология в жизни Антона!), а в единичку. Людно. Антон читает Казандзакиса – нет, не читает, а начинает читать, что несомненно важнее, и тут же греческое солнце освещает запотевшие стекла.

Человек говорит по телефону:

– ...буду через десять минут, да, ну подожди, чего ты!

А Антон смотрит на него три секунды и думает о тщетности обещания: десять минут могут не наступить, если трамвай (например) сойдет с путей и этот закутанный в черную кожу человек не выживет, умрет в давке старых ног старых людей, и на встречу через десять минут

– [увы и ах!] —

никто не придет. Антон улыбается, а человек кладет трубку и ловит на себе его взгляд. Хмурит брови и задает извечный, почти шекспировский вопрос, возвращающий Антона к прозе, а не поэзии, никак не к ней:

– Хуль смотришь?

Нет, решает Антон, – Казандакис все же интересней, а вопрос человека торопящегося лучше обдумать, когда никого не будет рядом. Глубокие мысли лучше всего обсасывать тогда, когда движениями своих щек ты никого не можешь оскорбить, даже если и не особенно-то и пытаешься. Категория другого факта: Антон едет тринадцать с половиной минут, чтобы выйти на одной из площадей, несущей в себе значимость советского пространства, Антон выходит из подземки, спотыкаясь на пятой сверху ступени и чуть не падая, Антону подмигивает некрасивая женщина, проходящая мимо него, пока он курит, дрожа – влюбилась или же она принадлежит к секте невротиков? Антон идет еще четыре минуты до своего университета, чтобы узнать, что его почти что отчислили за непосещаемость. Заходит, видит толпу людей, бегущих куда-то и улыбается, наблюдая за ними. В его голове размышления. Улыбнувшись еще шире и усмехнувшись чему-то, выходит. Проверяет пачку, дважды пересчитывает четырнадцать желтых сигарет, кивает сам себе и уходит мерзнуть к реке, где будет промерзать до костей и смотреть на встающее солнце, проклинать белый свет за такой холод, но,

– ах, как же там прекрасно, —

никуда не станет уходить он, пока лицо не перестанет шевелиться. Путь, поиск, эстетическое восприятие холода и морозной реки, грекам такое и не снилось, че, им остается лишь покрывать белой краской Парфенон и мечтать о русских морозных реках, ах, где же Ира, когда она так отчаянно нужна?!

За короткий месяц волны не выходят за берега, люди не выходят за рамки, остаются людьми, а я, пьяная и в маске, зову его по имени,

– Луциан-

,смотрю, оборачиваясь, на лицо моего Антона и с высоты четвертого этажа вниз, на шоколадную гладь ночной воды, канал плещется, в нем плавает использованная защита от детей (не погремушка), белым призраком плывет, рассекая шоколадную гладь, в небе немного стреляет фейерверк, двое в синих масках на углу смотрят на меня, чувствуют, как я мешаю их связи только тем, что ищу в них отклик моего

– Луциана-

,ищу его под их масками и немного под своей, но мои пьяные пальцы не ощупывают поверхность, а лапками паучка-сенокосца впиваются в подоконник, а трезвые антоновские дер-

жат меня за плечо (пять левых или правых, не могу сообразить), другие пять где-то под моим платьем, что-то ищут свое, как и мой

– Луциан-

ищет свой дурацкий танец; наверное, ища его, он ищет меня и не признается себе в этом, хотя прекрасно знает, где меня нет, а где я есть и жду его, о мой маленький и бесконечно глупый, глупый,

– Луциан-

глупец.

– Что ты высматриваешь там? – шепчет Антон, закалывая мои плечи своей щетиной, жарко дыша и оставаясь все таким же, как и годы назад, все с тем же латиноамериканским дыханием, которым однажды дыхнул на меня и покори́л. Он прекрасно все понимает. – Все веселье тут...

– Он где-то там.

– Он всегда где-то там, а не здесь, и что с того? – Он оскорбляется, как оскорбляется тысячу раз до этого, но виду не подает, разве что пальцы чуть сжимаются, делая и больно и приятно одновременно, но тут же возвращаясь в привычный свой уровень нажима. – Все как обычно.

– Твои пальцы немного левее обычного, – с грустью говорю я, почти ничего не соображая. – и немного грубее.

Парочка на углу забывает обо мне, их глаза наверняка полужакрыты – синие маски сливаются в поцелуе. Вдыхаю, наклоняю голову и ежовья щетина проводит по моей спине, тоже что-то ища.

– Я закрываю глаза и вижу его стоящим у Канала, – начинаю я тихо-тихо. – грустного, как обычно, курящего и стряхивающего пепел в воду. Он смотрит на черный канал, на луну, надеясь увидеть солнце, чувствует запах озона и одновременно не чувствует, думает почему-то про греков и невольно сравнивает их выжженные души со своей затопленной, ну, знаешь, христианство и грог, караваи и...

– Да понятно. – прерывает меня Антон. – Почему в этот раз греки?

– Он никогда не думает об одном и том же, а про греков не думал никогда.

Фейерверк заканчивается, а я смотрю на луну. Капли дождя все еще мокрым остатком покрывают мое лицо; бедный мой, старый мой,

– Луциан-

,которому остается мокнуть и совсем этого не замечать, а бродить в своем карманном аде, рожденным тем, что представляет из себя наша выдуманная Венеция, ведь со стороны Дзетти слышны крики, а с Руцци – веселый пьяный смех, на этаже ниже – охают от удовольствия, а синие маски на углу поправляют друг другу эти самые маски, чтобы не дай Бог не увидеть лица друг друга, Антон все крепче держит свои правые пять на моем плече, чтобы не упала, а другими пятью все настойчивее что-то ищет под платьем, как

– ОН-

,ищет свою глупую сицилиану...

– Греки отвратительны, королева, – трезво шепчет Антон и я улыбаюсь, потому что королевой он называет меня так редко, так неожиданно; диадема на дне Канала, я – на дне Канала. – гораздо лучше обсуждать итальянцев.

– Это ужасно типично и глупо, – отвечаю так же тихо я, полуоборачиваясь. – и он не говорит о них никогда и почти никогда не думает, греки – отличный выбор, почему бы грекам не быть в его мыслях?

– Пусть будут греки, если велишь, ма...

– И он со своими придуманными греками смотрит на Канал, – продолжаю. – видит, что он черного цвета и заброшен следами нашей итальянской любви, что в каналах плавает все,

от дождевых капель, до элементов костюмов, будь-то: куски ткани, ретуз, сломанные шпаги, высокая обувь, техника, даже почти обнаженные утопленники, в эту ночь решившие соблазнить сам Канал, Антон, в этом Канале плавает почти все, а он смотрит и ничего к черту не видит...

– Почему почти все, королева, чего в этом Канале нет? – спрашивает он, зная ответ.

– Синих масок, конечно.

– И его сицилианы?

– И его сицилианы, и еще ужасных спрятанных пластинок.

Не хочу говорить ничего Антону, но говорю, мы продолжаем обсуждать то, что может случиться, может окружать другого в эту прекрасную ночь, что повторяется год от года, Антон говорит о греках, прекрасно понимая, что суть вовсе не в них, суть не в венецианцах, итальянцах, аргентинцах, китайцах или в загадочных русских; этнос не является по моему мнению чем-то значимым, а он наоборот возводит это в определенную степень, вот он подслушивает мои мысли и говорит:

– Греки хороши для придумывания, а такой, как он, живо может себе их вообразить, придумать имя образу и наделить его черной бородой или кучерявой бородкой с широкими бровями, тогда как нам этот навык недоступен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.